

МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЕЙ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ*

(беседа английского политолога Джорджа Урбана
с бывшим вице-президентом Югославии
Милованом Джиласом)

Югославия — модель или антимодель?

Урбан: В Советском Союзе происходит „революция внутри революции”; вот что сообщил нам в своей речи в Мурманске 1 октября 1987 г. генеральный секретарь советской компартии: „Революционное созидание, воплощение в жизнь великих идей и целей Октября продолжают сейчас на качественно новом этапе”. Это поразительное заявление. Сам язык Горбачева заставляет задуматься: ведь в марксистском каноне никак не допускается, чтобы революция пролетариата могла быть чем-либо иным нежели завершением истории, после которого должен возникнуть новый тип человека, „свободного от пут нынешних пороков и вчерашнего бесправия”.

Как же может вождь партии победившего пролетариата говорить о „революции” через 70 лет после Октябрьской революции? Разве „Великая революция” не была всеобщим преобразованием человеческого бытия, как говорил о ней Ленин, Сталин, Хрущев и Брежнев? Не было ли в ней неких существенных дефектов, о которых нам не сообщили? Или дело пошло по неверному пути, а если так, то кто та личность или группа лиц, которая была достаточно сильной, чтобы преодолеть волю истории? Таковы вопросы, которые, думается, должен был бы задавать советский гражданин, не надеясь, впрочем, получить удовлетворительные ответы.

„Может ли диктатура пролетариата быть преобразована в нечто, приближающееся к свободному и демократическому обществу?” Такой вопрос возникает у объективного историка,

* Печатается с небольшими сокращениями. — Ред.

размышляющего о горбачевской перестройке, хотя вопрошают историю сейчас не только объективные историки. Какой бы ни была его риторика, представляется, что Горбачев удовлетворится достижением ограниченных целей, а именно — перестройкой хозяйства и обеспечением нужд потребителя; а за границей — выступлением СССР как силы, основанной на мощной в военном и хозяйственном отношениях советской системе, с которой вынуждены будут считаться. И все это — в рамках избирательно применяемой марксистско-ленинской идеологии и под руководством единственной, хотя и реформированной партии. Все же его амбиции весьма велики. Сам генеральный секретарь, вероятно, задумывается над вопросом о том, достаточно ли гибки существующие советские порядки, чтобы соответствовать таким амбициям?

Тут на ум приходят взаимосвязанные вопросы. Может ли советская система преобразоваться настолько, что независимый наблюдатель вынужден будет заявить: „Тирания ушла — система осталась; люди, согласные на компромиссы, могут жить внутри системы, потому что, строго говоря, это уже не советская система”? И второй вопрос: может ли югославский пример перехода от тоталитаризма к самоуправлению и децентрализации послужить образцом для Горбачева и его сторонников?

Джилас: Существо любой коммунистической системы — это монопольное господство коммунистической партии над обществом. Коммунизм — это обладание властью, более того — тоталитарной властью. Коммунизм считает своим историческим предопределением изменять и контролировать не только привязанности человека и его поведение как политического существа, но и его чтение, его вкусы, его досуг и, по существу, — всю его частную жизнь. Следовательно, коммунизм не может преобразовать самого себя в свободное общество. Это было бы квадратом круга. То, что он, вероятно, может сделать, и то, что пытаются сейчас сделать в Советском Союзе, — это осуществить улучшения в некоторых областях экономики и культуры, удерживая их, хотя бы для видимости, в рамках существующей идеологии.

Должно быть совершенно ясным: попытки советских руководителей преобразовать систему вдохновлены не неким

благородным прозрением относительно ее несправедливости и дурной славы, какой она пользуется в мире, а жесткой необходимостью. Они обнаружили, наконец, то, что коммунисты в Югославии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Китае обнаружили гораздо раньше, а именно, — что коммунизм „не работает“. Он не работает ни на уровне экономики, ни на уровне удовлетворения основных потребностей и свобод человека. Если добавить к этому факт быстрого технического развития Запада и Дальнего Востока, то останется только признать, что коммунизм — это реликт XIX века и рецепт для несчастий.

Сегодня советские руководители пытаются выйти на уровень современного мира. Как все политики, повсюду и во все времена, они хотят сохранить свою кормушку; и им приходится признать, что этого невозможно сделать, не признавая реальности. Вызов, однако, брошен лишь методам правления коммунистов, а не существу и характеру самого правления.

Урбан: Вы отметили, что кризис коммунизма носит всемирный характер, но в идеологическом аспекте интересно (хотя с точки зрения исторической перспективы этого вполне следовало ожидать) отметить разнообразие форм расхождений и бунта, наблюдаемых в некогда однородном и вдохновляемом из центра мировом коммунистическом движении. Я различаю две наиболее важные характеристики: отход от любой централизованной модели или авторитета, а также неохотное признание того, что командная экономика потерпела поражение, ибо экономическое планирование и человеческая природа противостоят друг другу.

Все прочие центробежные силы, вступающие ныне в игру, связаны с национальной идентификацией, культурой, религией и групповыми интересами. Казахи желают быть казахами, армяне — армянами, эстонцы — эстонцами и т. д. Национальный (и расовый) фактор, который марксисты-ленинцы долго не признавали, высмеивали и заматали под ковер, проявился полной мерой. И я полагаю, он проявится еще больше, когда горбачевская кампания за экономическую децентрализацию и автономное управление обретет сторонников и последователей в самых неожиданных местах.

Джилас: От Белграда до Пекина кризис идет непрерывно. Каждая коммунистическая страна страдает от дефектов, внутренне присущих системе. Большинство из них пытается исправить положение посредством фрагментарной экономической и социальной инженерии. Те, кто предлагал более сильно действующие средства — венгры в 1956 г., чехи и словаки в 1968 г. — были безжалостно раздавлены. (Я, кстати, не ставлю между этими двумя попытками знака равенства: вдохновляли их разные идеи.)

То, что мы наблюдаем сейчас в мире, — это калейдоскоп коммунистических обществ; каждое борется, чтобы удержаться на плаву, каждое сохраняет воинственную риторику, но каждое стремится идти своим путем, даже если оно не совсем свободно в его выборе. Международный коммунизм как организованная сила больше не существует. То, что еще есть общего у коммунистов, — это сходный жаргон и стремление к монополюльной власти. Этого много, но недостаточно. Москва в качестве престола коммунистического папства ушла в прошлое. Ушел в прошлое и Сталин в качестве великого визиря. Каждый, кто сегодня анализирует корни коммунизма в мире, должен различать специфические особенности каждой страны. Лишь немногие обобщения возможны, но одно наверняка: коммунизм советского типа остается и навсегда останется тоталитарным. Тоталитарный характер системы может проявляться в большей или меньшей степени в зависимости от местных условий. Но один из железных законов коммунизма советского типа состоит в том, что в момент кризиса, когда выживание системы оказывается под угрозой, тоталитарный ее компонент берет верх.

Урбан: В таком случае могли бы вы сказать, что инициативы Горбачева нетипичны? Или, что вряд ли они окажутся прочными? В конце концов, сам генеральный секретарь сообщил нам, что СССР находится в предкризисной ситуации (хотя и не в полном кризисе). А если так, то именно старые тоталитарные правители должны отдать приказ об открытии огня (если ваш анализ системы правилен), а не реформаторы вроде Горбачева, у которых только что зубки прорезались.

Джилас: Приговор по этому вопросу еще не вынесен. Советская система переживает экономический кризис, а не (или еще не) общий кризис того типа, какой угрожал, например, венгерскому режиму в 1955–1956 гг. Нам приходится ждать и наблюдать за развитием советского экономического кризиса, а также за тем, как прореагируют тоталитарные деятели на спасательные операции Горбачева. Лигачевы и Чебриковы не скрывают опасений, что горбачевские реформы могут привести к взрыву под их креслами — и это вполне может случиться.

Урбан: *Инстинктивный возврат к старой спасательной ортодоксии — стандартная реакция на любой кризис в обществе, общий или индивидуальный: „сиди хоть в луже, лишь бы не было хуже“.*

И коммунисты ведут себя так же, только „больше“, ибо они по природе своей фанатики. Ваше исследование о Тито — красноречивая иллюстрация относительно бегства в ортодоксию в коммунистическом мышлении. Я именно в виду отрывок из книги, где вы и Тито обсуждаете, какой род политической свободы должен быть предоставлен Югославии после прихода коммунистов к власти.

Джилас: Я сказал Тито, что мы должны разрешить оппозицию и свободные выборы. Тито заявил, что законы должны быть сформулированы таким образом, чтобы свободные выборы фигурировали на бумаге, но чтобы коммунисты могли всегда сохранять монополию на власть. Было бы неприемлемым для коммунистов лишиться власти по капризу избирателей, если воля истории (или нечто подобное) привела их к власти, доказывал Тито. Его реакция была типичной для коммуниста.

Урбан: *То, что коммунисты пренебрегают „волей большинства“ и в то же время настаивают на „демократическом“ характере своей системы, не перестает меня поражать. „Демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государство, т. е. организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другой,“ — замечает Ленин в „Государстве и революции“.*

А недавно Тереза Торанская в сборнике бесед с некоторыми из старой гвардии польских сталинистов, привела такие слова некогда могущественного в Польше человека — Якуба Бермана:

„...И на каких бы то ни было выборах мы не могли считаться с критерием, кому было отдано большинство голосов, потому что некому было отдать власть... А кому мы могли отдать власть? Миколайчику?.. Вы сейчас скажете, что это было бы соблюдением демократических принципов. Ну и что? Кому нужна такая демократия? Впрочем, сегодня тоже нельзя провести свободные выборы, тем более сегодня, потому что обстановка еще хуже, чем 10–20 лет назад, мы проиграем. В этом я не сомневаюсь. Так зачем же устраивать выборы?“¹

Джилас: Это типичная ультраконсервативная позиция. Но мы не должны допускать, чтобы она определяла все наши суждения о возможности обновления коммунизма. Возвышение Михаила Горбачева доказывает то, чего некоторые из нас давно ожидали: некоторые укоренившиеся компартии, особенно югославская и советская, имеют достаточно внутренних ресурсов, чтобы сбросить сталинистскую скорлупу и начать сначала. На заре своей истории советская компартия имела некоторые демократические черты. Горбачев пытается подлить воды в это окаменевшее растение и оживить его. Это нелегкая задача, ибо даже при Ленине советская демократия была весьма ограниченной: человек, сидящий в британском парламенте или в бундестаге никакой демократии тут не обнаружил бы.

Урбан: *Может ли помочь Горбачеву югославская модель? До того, как умер Тито, этот пример привлекал немало поклонников и подражателей в восточноевропейских компартиях. Сейчас, однако, и в Югославию пришли тяжелые времена. Экономика в расстройстве, коррупция процветает, республики тянут в разные стороны.*

Джилас: Югославия — это и пример и антипример. Пример она в том смысле, что здесь продемонстрирована реальность конфликта между реформистским и тоталитарным крылом в любой компартии и возможность поражения тоталитаристов.

Она антипример в том смысле, что быстрый переход власти от центра к республикам может привести к хаосу.

Рассмотрим сначала положительную сторону примера. Югославия стала своего рода лабораторией для изучения возможных судеб коммунизма в мировом масштабе. Видимость (пусть даже не реальность) самоуправления, культурная либерализация, местная автономия, экономическое сотрудничество с Западом, — все это делает Югославию застрельщиком прогресса. Но что еще более важно — это то, что и партия пытается ошупью подойти к переосмыслению коммунистического эксперимента в целом. Консервативная старая гвардия не потерпела окончательного поражения, но она находится в меньшинстве и чаще всего — в оппозиции. В то же время нельзя сказать, что и реформаторы находятся у власти. Большинство югославских коммунистов испытывают отчуждение и глубокое недовольство, как и большинство населения вне партии. Они удерживают сталинистов на коротком поводке, а руководство — под постоянным давлением, но и они не знают точно, как реформировать систему и привлечь поддержку общества.

Местная автономия привела к значительному разнообразию в соотношении сил между твердолобыми и реформистами. Возникли полунезависимые феодальные уделы, иногда консервативные, как в Боснии, иногда либеральные, как в Словении. Центробежные националистические интересы нередко сочетаются с общими интересами отдельных лиц и институтов. Если Югославия и является положительной моделью, то это легче почувствовать, нежели описать; и это не может слишком помочь Горбачеву.

Урбан: Следовательно, в конечном счете, Югославия демонстрирует расставание с архаичным коммунизмом любого происхождения, а также признание, что вся идея с практическим применением ленинизма — абсурдна.

Джилас: И то и другое верно; но позвольте мне добавить некое предостережение. Архаичный коммунизм — ныне пережиток, и потому необходимо переменить лексикон старомодного антикоммунизма. Есть вульгарная критика коммунистического

мышления, которая, возможно, во времена холодной войны приносила пользу; теперь она дает обратные результаты. Было бы ребячеством сегодня говорить „все коммунисты одним миром мазаны” или „коммунист остается коммунистом”. Такого рода риторика, кроме того, что она ложна, ныне непосредственно играет на руку „старой гвардии” коммунистов. Разумеется, я не хочу сказать этим, что мы должны ослабить критику коммунизма как дефектной или попросту невыносимой общественной системы. Но мы должны адресоваться к этой системе с серьезностью и с пониманием, которых она заслуживает. Миллионы людей волей-неволей должны жить при коммунистическом режиме. Мы обязаны предложить им интеллектуальную взвешенную, хорошо аргументированную и реальную альтернативу. Антикоммунизм голливудского образца этого не сделает. Слишком много было лозунгов и слишком мало зрелого освоения социальной и интеллектуальной истории марксизма и ленинизма.

Урбан: Но не может ли так случиться, что слишком широкое изучение истории и логики мышления коммунистов заставит нас на уровне подсознания принять марксистско-ленинский образ мыслей? (Не случилось ли так во многих внешнеполитических ведомствах западных стран?) Не подрывает ли такой подход нашей способности думать о коммунизме с полной свободой? Американские консерваторы нередко говорят: „Не морочьте нам головы этой „теологией”! Мы точно знаем, чем плох коммунизм, не забывая себе голову его неудобоваримой литературой. Мы видим, что эта система плоха, и мы это можем сказать сразу...” Такая позиция придала большую силу президенту Рейгану в начале его пребывания на посту и заставила Кремль обратиться к защите.

Джилас: Теперь такая позиция неуместна. Не хотите ли вы сказать, что судья достаточно опытный, чтобы понимать жаргон воров, попадающих на его суд, становится их сообщником? Конечно, нет. Но, рассматривая дело, он должен знать, о чем говорят подсудимые.

Урбан: *С того момента, когда такие слова как „гласность” и „перестройка” вошли в а английский, французский, немецкий или итальянский языки, с ними пришла немалая часть мышления Михаила Горбачева. Он это сознает и гордится этим. Нет ли здесь для нас предостережения такого рода, что „грубые” американские консерваторы инстинктом лучше понимают, что такое коммунизм, нежели тенденциозные журналисты и политические мудрецы?*

Джилас: Нет. Ответ на туманное представление о советской системе — это ясное представление о советской системе. Ответ на пропаганду, обращенную к подсознанию, — это разум и знание истории. На пути исследования человеческой природы нельзя игнорировать некоторые явления.

Урбан: *Я полагаю, что Горбачеву было бы полезно извлечь по меньшей мере один практический урок из недавних событий в Югославии — урок уязвимости „доминирующей” нации в многонациональном государстве в период, когда осуществляется децентрализация. Я имею в виду ставший ныне знаменитым „Неоконченный меморандум” Сербской Академии наук от сентября 1986 г.*

Джилас: Да, этот примечательный документ — действительно серьезное предостережение. В нем говорится, что крупнейший народ Югославии низведен до неравного положения в немалой степени потому, что сербам (в отличие от их соседей в Хорватии и Словении) не было позволено создать свое государство, пользоваться собственным языком и алфавитом. Академики говорят, что приниженное положение сербов по отношению к другим народам Югославии в основном было следствием конституции 1974 г., которая превратила федеративную систему страны в конфедеративную систему слабо связанных между собой республик. Республики обрели право налагать вето на волю большинства, а на сербов стали смотреть как на „гегемонистов”, „централизаторов” и „полицейских”.

Урбан: *Не звучат ли тут знакомые ноты из Александра*

Зиновьева, Владимира Максимова и Александра Солженицына? Они могут заявить (фактически они так заявляют), что и в Советском Союзе доминирующая нация находится ныне в приниженном положении. Именно русское наследие, провозглашают они, было искажено импортированной идеологией. Жизненный уровень именно русских намного ниже, чем в прибалтийских республиках, Армении и Грузии. В аппарате, вооруженных силах, в сфере культуры непропорционально велико число важных постов, занятых нерусскими, доказывают они. Россию дерусифицируют, лишают ее характера. Все это становится излюбленной темой в беседах русских в Советском Союзе; такие настроения находят сторонников и внутри и вне партии.

Я полагаю, что Горбачеву настоятельно советуют не следовать примеру Югославии, если ему дорого положение русского народа в рамках Союза. Вопрос состоит в том, сможет ли он придерживаться демократизации и гласности как основ своей политики, не придав новое значение праву наций на самоопределение, гарантированное статьей 70 нынешней советской конституции? Что помешает армянам, узбекам, казахам, латышам, украинцам сказать: „Демократия неизбежно должна начинаться дома, и мы хотим нашей формы правления и нашей независимости”?

В знаменательном обращении к XIX всесоюзной партконференции именно так и заявил пленум эстонских творческих союзов, и его обращение было опубликовано в официальной печати.²

„На повестке дня стоит вопрос об отношениях между учреждениями Союза и республик, объединившихся добровольно для создания СССР”. „Необходимо восстановить ленинские принципы суверенитета и равноправия”.

Чтобы сказанное было понятнее, Гейнц Валк, рядовой участник пленума, напомнил:

„Ниголь Андресен (один из первых эстонских наркомов. — Дж. У.) сказал 22 июля 1940 г.: „Присоединение к Советскому Союзу в качестве нации, ранее независимого государства, не может пониматься так, как это делают некоторые злонамеренные мыслители, то есть как отмена нашей независимости...”

Но в то же самое время хорошо нам известный человек в

Кремле покручивал усы и думал обо всем этом совершенно по-другому... Согласно статье 60 конституции Эстонской ССР, Эстония и в самом деле суверенное государство. А если это суверенное государство, то почему оно не может вершить свои дела независимо, и должно обращаться в Москву за разрешением даже на издание газеты?

Джилас: Сравнение между сербами и русскими напрашивается, но оно не совсем точно. Сербы — не гегемонистская нация в Югославии; русские в Советском Союзе — весьма гегемонистская нация, сколько бы ни утверждали обратное Солженицын, Максимов, Зиновьев и их последователи. Верно, что великорусский национализм как таковой еще не слишком проявляется, по меньшей мере, официально. Однако роль русской нации как „старшего брата” в компартии и в имперской бюрократии культивируется открыто, это совершенно ясно. Например, еще несколько лет назад гимн Азербайджанской республики включал такие слова: „Могучий русский брат несет земле торжество свободы, мы своей кровью должны крепить нашу дружбу и родство с ним...”

Урбан: *Даже сегодня узбеки начинают свой гимн словами: „Привет русскому брату, велик твой народ!”*

Джилас: Иными словами, наследие царизма живет и процветает. Централизация, лингвистический империализм, денационализация этнических культур крупных районов Советского Союза, особенно на Украине и в Белоруссии, — постоянные черты советской жизни. Все это выросло из русской истории — истории централизации и экспансии.

Россия не последовала путем Европы — от нации к государству. Сначала образовалось Московское государство, а затем уже — русская нация. Отсюда постоянные опасения русских, что государство может развалиться; что в случае, если тиски государства разожмутся, русская нация может пасть или смертельно ослабеть. Коммунистическая система по своим соображениям поддерживает централизацию, и это счастливое совпадение приносит ей выгоды.

Все это не имеет к сербам никакого отношения. Поэтому эрозия позиций сербов среди народов Югославии не может рассматриваться как предостережение Горбачеву без серьезных оговорок.

Но вы правы в том отношении, что понятия гласности, демократизации и перестройки сами по себе близки друг другу. Невозможно, как это делают Горбачев и его сторонники, проповедывать свободу духа, демократическое участие в управлении и индивидуальную инициативу, не поощряя украинца спрашивать: „Почему я должен учиться на русском языке, когда мой язык — украинский?”. Или эстонца протестовать: „Мы не хотим, чтобы в наших городах русские стали большинством — положите пределы иммиграции русских”. Или же армян (в том числе армянских коммунистов) требовать пересмотра границ республики, как они уже делают это в случае с Нагорным Карабахом.

Горбачев и его окружение каждый день вдальбливают советскому народу „истину”, которую, по их словам, после долгого перерыва можно открыто провозглашать в советском обществе. После 50 лет подавления правды Яковлев сообщил в Калужской области (14 июля 1987 г.) о „нашем коллективном возвращении к правде”. Если это так, то трудно представить, чтобы правда о национальном самоопределении или о том, что „социализм не может быть вариантом всеобщего выбора идеального общества”, может быть исключена из всеобщей дискуссии или отделена от процесса демократической „перестройки”. Для многих людей гласность и перестройка обозначают именно независимость и нечто, не связанное с социализмом.

Урбан: *Такие заявления, пока еще выдержанные в приемлемом властям духе, уже широко появляются, и Горбачеву они не нравятся. На встрече с работниками советских средств информации в июле 1987 г. был записан следующий обмен репликами („Правда”, 15 июля 1987 г.):*

А. А. Беляев (главный редактор „Советской культуры”): „В речах некоторых деятелей искусства, ратующих за самобытность и чистоту национальных культур, исчезает понимание интернациональной сущности советской социалистической культуры”.

М. С. Горбачев: „Каждый народ имеет свой язык, свою историю, он хочет понять свои корни. Разве это противоречит социализму? Нет, конечно. Но, с другой стороны, если кто-то замкнется в себе, кичится и начинает это выдавать за абсолютную ценность,— согласиться с этим нельзя. Мы — государство, объединяющее уникальную дружную семью народов! Так завещал Ленин”.

Вторя Горбачеву, но говоря еще более открыто, Александр Яковлев выразил советские опасения в Венгрии весьма откровенно (в выступлении по венгерскому телевидению 30 июля 1987 г.):

„Национальная политика требует особого такта и крайней чуткости. Когда между народами начинают возникать какие-либо трения, они могут вырасти в лавину независимо от действий или желаний того или иного человека”.

Джилас: Армяно-азербайджанский конфликт подтвердил правоту Александра Яковлева. В Вильнюсе 9 июля 1988 г. на огромном митинге, в котором участвовали более 100 тысяч человек — представителей трех прибалтийских республик и группа сторонников перестройки из Белоруссии, выступали с призывом поддержать требование Армении о самоопределении для Нагорного Карабаха. Призывы, связанные с национальной проблемой, распространяются с большой скоростью.

Советские руководители действительно обеспокоены, и у них есть основания для беспокойства. Вскоре после визита Горбачева в Югославию Федор Бурлацкий предупреждал: „Югославия показывает нам пределы децентрализации... Мы должны ограничить власть центра, но не идти так далеко, как Югославия...”

Но позвольте мне добавить, пока мы не отошли от этой темы, что есть, несомненно, некоторая доля истины в аргументации Солженицына—Зиновьева—Максимова относительно „неравноправного” положения русского народа. Верно, что простой русский несет основное бремя империи, не получая от нее никаких благ. Но факт, что почти каждый русский, независимо от своего положения, с энтузиазмом принимает идею расширения России и как к должному относится к тому, что это расширение требует жертв. В возмещение этих жертв он в своем сознании

гордится гегемонией России — гегемонией, ныне облекшейся в мантию „социализма”.

Ленин, который по российским стандартам терпимо относился к нерусским народам империи и был тверд по отношению к „великорусскому шовинизму”,³ тем не менее отвоевал обратно почти все те части царской империи, которые серьезно восприняли большевистскую пропаганду, предшествовавшую революции 1917 г., и отделились от нового коммунистического государства. Он раздавил независимость Украины; захватил обратно Грузию после того, как грузин торжественно заверили (в договоре от 7 мая 1920 г.), что их независимость будет уважаться; вторгся в Хиву и Бухару и т. д. К концу гражданской войны все части широко раскинувшейся царской империи вернулись под русское большевистское правление, кроме Польши, Финляндии и прибалтийских государств (которые получили международное признание своей независимости), а также Бессарабии (которая была аннексирована Румынией).

Урбан: *Вы хотите сказать, что даже такой реформист и терпимый руководитель как Горбачев, с гласностью и демократизацией на устах, не позволит, чтобы его идеи были переведены на язык независимой национальной политики (не говоря уже о сепаратизме), невзирая на то, что советская конституция говорит о „самоопределении” и даже (статья 72) о праве каждой республики „свободно отделиться от СССР”?*

Джилас: Думается, что именно так обстоит дело. Согласно коммунистической теории, „социализм” — высшая форма общественной организации для народов, которые предположительно находятся на стадии перехода к капитализму („сознание отстает от бытия”). Это, конечно, чушь. Но это всегда давало советским руководителям отличное оправдание для отказа упрямым узбекам и татарам в самоопределении и в праве на независимость.

Видите ли, мне кажется, что предстоит еще долгая дорога до признания Горбачевым национальных и этнических требований, не говоря уже о том, чтобы подписаться под документами о независимости своих колониальных территорий. Логика его

собственной пропаганды неким гегальянским образом вступит с ним в конфликт, причем последствия будут весьма неожиданными и неприятными. Это может оказаться подходящим моментом для прибалтийских народов, украинцев, узбеков и других выступить со своими требованиями, как это уже сделали армяне и как уже начинают делать эстонцы и латыши. Для начала советскому руководству следовало бы согласиться уважать советскую конституцию и выполнить обязательства, взятые им на себя по Хельсинкским соглашениям, провозглашающим право каждого народа на самоопределение. Резолюция XIX Всесоюзной партконференции об „отношениях между народами” просто девальвирует тему.

Урбан: По мнению Москвы, проблема с армянскими требованиями о включении Нагорного Карабаха в Армянскую республику состоит в том, что вначале в этих требованиях не было никакого антирусского или „антисоциалистического” привкуса. Она возникла из давнего конфликта армян с исламом и с несправедливостями сталинской национальной политики. Поэтому было нелегко (хотя и оказалось возможным) наклеить на эти требования ярлыки „национализма” и „экстремизма”.

Не напоминает ли вам этническое расселение армян-христиан внутри Азербайджана и мусульман-азеров – в Армении (и возникшее в результате напряжение в отношениях между народами) страшные бедствия, которые во время второй мировой войны претерпели сербы, жившие в Хорватии, и хорваты, жившие в Сербии?

Джиглас: Да, напоминает; но есть и важное отличие. В коммунистической Югославии никто не воображал, что государство или господствующая в нем философия могут предложить магическое средство устранения национальных конфликтов. А вот коммунизм имеет такие претензии. Поэтому армянские волнения – удар в самую сердцевину этого самодовольного утверждения („миф” был бы здесь более уместным термином), исходящего из того, что пролетарская сознательность, советский режим и „интернационализм” автоматически излечивают раздоры и нейтрализуют конфликты между народами. Из множества

живых концепций, поддерживаемых коммунистическим режимом, эта может оказаться самой убийственной для него.

Урбан: Статья 78 нынешней конституции гласит, что границы союзных республик могут быть изменены лишь с согласия заинтересованных республик и с одобрения Москвы.

Джиглас: Это делает задачу Горбачева еще более трудной, так как я не думаю, чтобы азербайджанцы согласились уступить Нагорный Карабах, и не знаю, как Москва может обойти их, если предположить, что она этого хочет (но она не хочет). На самом деле решено было подавить протесты армян.

Решение Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1988 г. прямо отмечает, что уступка требованиям армян означала бы конец „дружбе народов СССР как единого, федеративного, многонационального государства”, что это привело бы к „непредсказуемым последствиям”. Так и случилось! Уже 12 июля 1988 г. областной совет Нагорного Карабаха объявил об отделении области от Азербайджана и провозгласил ее автономным районом Армении под древним армянским названием Арзах, что было немедленно отвергнуто Верховным советом Азербайджана.

Вспомним слова Горбачева из его доклада к семидесятилетию Октябрьской революции. Он сказал, что „порог подлинной истории человечество перешагнуло в 1917 г... Мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его...” Что ж, Нагорный Карабах показывает, что советская реальность, если очистить ее от утопической риторики, несет в себе черты жутковатого сходства со „старым миром”, который, как оказывается, не был „бесповоротно” отринут.

„Новый класс” как раннее предостережение

Урбан: Пока русские элементы как внутри, так и вне коммунистической правящей верхушки убеждены в своем праве управлять, невозможно представить, как можно удовлетворить местные требования независимости или хотя бы „суверенитета

по-советски". И нет никаких признаков, что русская нация позволит сократить свое поместье. Похоже, что в имперских вопросах голос партии и русского народа сливается. Потеря любой союзной республики будет ударом по русской гегемонии и, скорее всего, станет концом Советского Союза и самого Горбачева. Не чрезмерно ли мы оптимистичны, ожидая, что Горбачев останется верен своим словам и в отношении имперской периферии? Может быть, он скорее признает, что истина, справедливая для экономической перестройки, неприменима к „колониям“?

Джилас: Советские коммунисты никогда не откажутся сажать под замок ораторствующих мулл и подавлять „буржуазный национализм“. Ясно, что Горбачев и его люди не испытывают радости от перспективы, что мусульманский фундаментализм явится на их собственные мусульманские территории, например из Ирана. Но с этим они могут справиться до тех пор, пока болезнь остается за пределами партии и аппарата. Они — специалисты по подавлению национального сознания и организованной религии. Действительно может их беспокоить проникновение сознания национальной самобытности и религии в партию и бюрократию. Когда местная партия тоже захочет отдалиться от центра, поскольку она окажется ближе к управляемому ею народу, чем к властям предрержащим в Москве, — вот тогда в Кремле зазвучит сигнал тревоги. Похоже, что так произошло в Алма-Ате, происходит в еще большей степени в Нагорном Карабахе и в прибалтийских республиках. В Казахстане Горбачев применил кнут, потому что он не мог рисковать империей. В руководство Казахстана были посажены русские, а лидеры протеста наказаны. Он вел себя вполне в духе царя-самодержца.

Урбан: „Укоренение“ большевизма на местах привело к некоторым неожиданным последствиям. Сталин горячо стремился к тому, чтобы рост национальных кадров усилил позиции коммунизма в периферийных национальных сообществах. При Сталине так оно и было. Представляется, однако, что Горбачев сталкивается с иной тенденцией — активизацией национального сознания в местных партиях и в аппарате, результаты чего

проявляются все чаще и чаще. В Армении и в Нагорном Карабахе коммунистический аппарат, как и армянская церковь во главе с католиком всех армян Вазгеном Готкрыто выступила (26 февраля 1988 г.) в поддержку присоединения Нагорного Карабаха к советской Армении. Правящие круги Латвии и Эстонии одни из первых призвали к реабилитации жертв Сталина.

Но вернемся к Югославии. В вопросах региональной независимости югославская модель явно должна поразить Горбачева как просто неприемлемая для него. Либерализация федеральной структуры превратила Югославию во множество мини-государств, каждое со своим местным руководством, упрямым и несговорчивым, рассматривающим себя самое как самодостаточную олигархию (хотя и открытую для коррупции в масштабах, соответствующих местным традициям). Что бы ни думал Горбачев о последствиях системы самоуправления (как они видятся в Югославии), он не может желать для себя пути к децентрализации федеративной системы.

Джилас: Нет, не может. Но очевидно, почему желающие распада Советского Союза поощряют его пойти по югославскому пути. Заявки на различные формы национального сепаратизма ныне открыто высказываются в стране. В Словении, где наиболее резко критикуют центральное правительство, влиятельные лица выступают за „независимую Словению“ в рамках Европейского сообщества. В 1971 г. некоторые хорваты также желали автономии под згидой ООН, отдельной валюты и реформы центральных институтов, поскольку, по их мнению, Хорватия стала платательницей за более бедные республики. Даже в Сербии завоевывает позиции разочарование в федеративном государстве, отчасти потому, что Белград оказался неспособным защитить жизни и имущество сербов, проживающих в албанской провинции Косово, а отчасти по причинам, указанным в цитированном ранее меморандуме Сербской Академии наук.

Урбан: Столь же неудачным оказался бы, я полагаю, Горбачеву совет следовать примеру Союза коммунистов Югославии?

Джилас: Да, конечно. Союз коммунистов Югославии в

глубоком кризисе не только из-за слабого послужного списка в социальной и экономической областях, но и из-за того, что он по существу расколот на восемь партий. Каждая представляет интересы данной республики. Их связи с Белградом слабы, все они тянут в разные стороны. Их всех объединяет лишь недоверие тому, что они называют федеральной партией. На словах они не против Югославии и не против сербов; но их отталкивание от центральной бюрократии представляется многим сербам враждебностью к самой многочисленной нации Федеративной республики. Говоря кратко, история „децентрализации коммунизма” в Югославии — плохой пример для Горбачева.

Урбан: Как может повлиять дух горбачевских реформ на будущее стран Центральной и Восточной Европы, зависящих от Москвы? Представляется, что советско-югославское заявление от 19 марта 1988 г. означает отказ от доктрины Брежнева. В части II, посвященной отношениям между партиями, она содержит следующие слова:

„Исходя из убеждения, что никто не обладает монополией на владение истиной, стороны заявляют об отсутствии у них претензий навязывать кому бы то ни было собственное представление об общественном развитии”.

Еще важнее, что в разделе об отношениях между государствами Советский Союз и Югославия

„подтверждают свою приверженность политике мира и независимости народов и стран, их равноправию, одинаковой безопасности всех стран, независимо от их размеров и потенциалов, общественно-политической системы, идей, которыми они руководствуются, формы и характера их объединений с другими государствами и географического положения”.

Было бы удивительно, если какой-либо из народов Восточной и Центральной Европы не сделал бы отсюда заключения, что созрело время для новых усилий с целью освобождения от смиренной рубашки Кремля. Это чувство в ряде случаев может быть столь же сильным внутри партий, как и в обществе. В Венгрии, например, одна влиятельная группа диссидентов составила четкий, хотя и осторожно сформулированный проект „общественного договора”. В нем предусматривается, так сказать,

„конституционный коммунизм”, а также некоторое восстановление независимости Венгрии в рамках более терпимой и экономически ослабленной советской империи. В таких условиях компартия должна будет отказаться от своего „надзаконного” положения и подпасть под контроль надлежащим образом избранного парламента. Другая, еще более радикальная группа („Сеть свободных инициатив”) призывает к многопартийной системе и к выводу советских войск из Венгрии.

Возникает интересный вопрос: поставят ли горбачевские реформы национальную проблему в порядок дня? На лекции в Лондоне 28 января 1988 г. Збигнев Бжезинский предсказал, что именно так и случится.

„Регион в целом, — отметил Бжезинский, — проходит сегодня и через политическую либерализацию и через экономический спад — классическая формула... для революции... Тут будет уместно поставить вопрос исторического масштаба: не может ли 1988 год стать началом новой „весны народов” в Европе, подобно 1848 году. Можно без преувеличения сказать, что в Восточной Европе имеется сейчас пять стран, потенциально созревших для революционного взрыва. Без преувеличения можно сказать, что такое может произойти одновременно в нескольких местах”.

Джилас: Во-первых, я бы не принял „отказ” от доктрины Брежнева за чистую монету. В 1955 г. Хрущев и Булганин „пошли в Каноссу” — в Белград. Тогда тоже было подписано заявление, столь же определенно подчеркивающее право любой страны на абсолютный суверенитет и невмешательство во внутренние дела друг друга „по любым поводам”, как и совместное заявление в марте 1988 г. Но лишь годом позже Советский Союз угрожал Польше и сокрушил Венгерское восстание.

Во-вторых, национальный вопрос еще не поставлен открыто в порядок дня в Восточной Европе. Но у меня нет никаких сомнений, что если темпы перемен в Москве сохранятся, это произойдет. Я не верю, однако, что повторятся события 1956 г. Предпринятое Хрущевым разоблачение сталинизма привело к появлению Гомулки в Польше, а это, в свою очередь, заглохло Яскру венгерского восстания. Горбачев, похоже, человек более

интеллигентный, благоразумный и предусмотрительный, чем Хрущев...

Урбан: На XIX всесоюзной партконференции Горбачев предложил воздвигнуть памятник жертвам Сталина. Не откроет ли это бесчисленных старых ран и не приведет ли к требованиям назвать цифры и наказать виновных?

Джилас: Это может случиться, но я думаю, что Горбачев достаточно силен, чтобы удержать возможные волнения под контролем. Это „революция сверху”. Хотя Горбачеву хотелось бы, чтобы она стала более стихийной, всеобщей, ибо этого теперь требует его битва против бюрократии, не в его и не в его партии интересах, чтобы десталинизация привела к подлинной революции снизу, так как она означала бы конец системы.

Вторая причина моей веры в то, что советские реформы не приведут к пожару в Восточной Европе, состоит в том, что все советские руководители — от Хрущева до Горбачева — извлекли некоторые уроки из кровавых событий в Венгрии в 1956 г. Они поняли, что с национальными чувствами шутить не приходится, и какими бы дикими ни были карательные меры после 1956 г., Кремль вряд ли в дальнейшем поддастся искушению обращаться с восточноевропейскими странами как со своими сатрапами. После венгерского кровопускания прекратили отдавать приказы сателлитам по телефону. Роль советских послов как вице-королей также ушла в прошлое, хотя я должен признать, что это все-таки случается. Мы достаточно хорошо помним, как нагло вел себя советский посол в Праге в 1968 г. — вполне как представитель державы-оккупанта, а в Болгарии советский посол и сегодня играет роль генерал-губернатора.

По моим прогнозам, ослабление связей Восточной Европы с Москвой будет идти скорее эволюционным путем, нежели революционным. Советские руководители ныне понимают, хотя они не могут признать этого открыто и во всеуслышание, что и в социалистическом лагере национальный фактор решает гораздо больше, чем фактор „пролетарской идеологии”, и они будут делать уступки в этой области, чтобы держать империю под контролем. Они искренне надеются, что гласность и перестройка

предложат сателлитам тот европеизированный и модернизированный тип социализма, который пражские реформаторы предлагали преждевременно — в 1968 г.

Урбан: Но их надежды вполне могут оказаться необоснованными. Изучение советской модели, даже „либерализированной”, порождает глубокое культурное и историческое отталкивание в большинстве стран Восточной Европы. Вполне возможно, конечно, что „горбачевизм” удастся использовать как плетку для подстегивания местных правителей (как это уже делают венгерские писатели); но это может быть лишь средством к достижению цели, а целью является национальная независимость, или, точнее, максимум национальной независимости, возможной при геополитическом положении Восточной Европы. На самом деле общества этих стран отвергают любой вариант коммунистического правления. Я вспоминаю, как краткий расцвет „еврокоммунизма” в середине 70-х годов по существу не получил в этих странах никакого отклика, разве только улучшил настроение внутрипартийных диссидентов и некоторых бывших партийцев.⁴

Джилас: Все же есть признаки (не более того), что движение отступничества в Советском Союзе идет гораздо более широким фронтом, нежели когда-либо ранее и чем этого можно было бы ожидать; и это будет иметь отзвук в Восточной Европе. Так, белградский журнал „НИН” опубликовал недавно интервью с советским гражданином, который так резко критиковал пороки системы, что ни один западный советолог не мог бы сделать этого лучше. Одно из предложенных им решений (высказанное в таком контексте, который сразу дал понять, что идея скрыто обсуждается в Москве) состояло в замене одной коммунистической партии двумя коммунистическими (или, как он их назвал, „социалистическими”) партиями. Он заявил, что однопартийная система потерпела неудачу; нужна какая-то форма оппозиции. Вторая „социалистическая” партия даст системе нечто вроде обратной связи.

Нечего и говорить, что двухпартийная система будет прямым вызовом тому, что называют „социализмом” в Советском

Союзе, и тяжелым ударом по ленинизму. Двухпартийный социализм — вероятно, не более чем идея, которую муссируют под защитой гласности немногие. И все же это показывает, какие силы выходят на поверхность в партии под влиянием реформ Горбачева.

Урбан: *Вопрос о смягчении, если не об отказе от монополии компартии, может быть поставлен на обсуждение — это можно понять из замечаний самого Горбачева. В беседе с представителями средств информации (14 июля 1987 г.) он почувствовал необходимость защитить ведущую роль партии. Зачем было бы защищать ее, если бы на нее не нападали? Никто, заявил он, не может носиться с идеей „возможности обойтись без партии... Тот, кто думает иначе, по меньшей мере, ошибается... Социальные демагоги нашли путь в некоторые издательства... Они проявляют особую злобность в атаках на кадры“.*

Лишь несколькими неделями ранее (23 мая 1987 г.) в советско-американском „телемосте“ Георгию Арбатову был задан вопрос, будет ли при Горбачеве система расширена до многопартийной, и он ответил следующее:

„Наше историческое развитие шло так, что у нас — одна партия. Вообще-то в начале революции у нас была не одна партия, а две, и даже часть третьей партии (так мне помнится) — меньшевики-интернационалисты. Они сами покинули коалицию, и так сложилась однопартийная система... В принципе можно представить себе систему с теми же отношениями собственности как наша, и с теми же общественными отношениями, но не с одной партией, а с двумя, тремя или четырьмя. В принципе и в теории это возможно. Мы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что здесь нет ничего противоречащего самой системе...“ (Обр. перевод с английского. — Ред.)

Еще интереснее высказался о том, как установилась однопартийная система в СССР, Розенталь, обозреватель агентства „Новости“, в ответ на требование журналистов заполнить „белые пятна истории“:

„Однопартийная система в СССР — это результат отказа лидеров партий русской мелкой буржуазии, которые составляли часть Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов,

*от предложения большевиков создать многопартийное советское правительство. Меньшевики, эсеры, народные социалисты и другие открыто выступили против советской власти, развязав в союзе с буржуазией кровавую гражданскую войну... Запад может в какой-то мере считать себя соавтором нашей однопартийной системы“.*⁵ (Обр. перевод с английского. — Ред.)

Джиглас: Арбатов, можно сказать, весьма экономит на истине, говоря с легковверными американцами, не знающими советской истории. Но, конечно, это весьма многозначительно, что ему приходится отстаивать, по меньшей мере в принципе, антиленинскую идею многопартийной системы. Влиятельный Л. И. Абалкин также поднял этот вопрос на XIX партконференции:

„Сможем ли мы обеспечить демократическую организацию общественной жизни, одновременно сохраняя советское устройство общества и однопартийную систему? Да или нет?“ (Обр. перевод с английского. — Ред.)

Урбан: *Если вопрос о том, для чего именно нужна партия и как она должна включиться в „демократизацию“, начинает выходить на поверхность, то ответственен за это сам Горбачев. Именно он сказал в 1986 г., что поскольку при советском социализме нет обратной связи с теми, кто принимает решения, из-за отсутствия оппозиции, то партия сама должна вести критику и создавать обратную связь. Это вполне могло поощрить некоторые горячие головы к разговорам о двухпартийном „социализме“. Но, конечно, в своем сугубо формальном заявлении Горбачев явно не имел в виду поощрять реформаторов, стремящихся к многопартийности. На XIX партконференции он заметил:*

„... в последнее время мы не раз сталкивались с попытками использовать демократические права в антидемократических целях, кое-кому кажется, что таким образом можно решить любые вопросы: от перекройки границ до создания оппозиционных партий. ЦК КПСС считает, что подобные злоупотребления

демократизацией в корне противоречат задачам перестройки, идут в разрез с интересами народа”.

Джиглас: Тот факт, что дискуссия на эту ранее запретную тему все-таки идет в Советском Союзе, сам по себе показывает, какие ветры там дуют, и это тщательно регистрируется чуткими ушами в Будапеште, Варшаве и Праге, которые, думается, ничего не пропускают.

Они же должны были отметить и исчезновение „партийности“ из югославской культуры. Оди из наиболее обнадеживающих элементов югославской модели „социализма“ — это возвращение к некоему подобию нормальной культуры. Именно в этом партии-сателлиты и горбачевские реформаторы могут кое-чему научиться в Югославии — к выгоде русской и восточноевропейской культур, а если додумывать до конца, — то и к выгоде самого коммунистического движения.

Югославская культура ныне черпает свое вдохновение вне рамок официальной идеологии. Даже в Хорватии, где партия более ортодоксальна, чем в большинстве других республик, литература отделена от партии. В Белграде ни один уважающий себя автор не будет придерживаться партийной линии. Писатели, которые присоединились к партии из карьеристских соображений, в своем творчестве вырвались из тенет официального мышления, и их глубоко оскорбило бы, если бы кто-то предположил, что они „строили социализм“. Даже в Боснии, где власти еще влачат в своем багаже тяжелый балласт сталинизма и где еще существуют наказания за „преступления мысли“ (политические сплетни и т. п.), культура стала делом сугубо непартийным.

Наиболее важное последствие этой относительной свободы культуры — это возможность для наших историков писать более или менее объективную историю. Еще есть темы, которых делкатно избегают — например, нападки на Тито или на коммунистическую революцию в целом. Но другие аспекты истории, включая историю партии, ныне стали объектами изучения историков, причем такого изучения, которое любой уважаемый историк на Западе признал бы нормальным. Разумеется, югославские историки предлагают крайне противоречивые и самые различные толкования фактов и нередко их споры доходят до оскорб-

лений. Несомненно, однако, что это явление нормальное, являющееся признаком жизненной силы исторической науки.

Урбан: *Мы упоминали, что некоторые горячие головы в Москве могут принять горбачевский призыв 1986 г. о формировании обратной связи внутри партии за призыв к ослаблению авторитета партии или даже за призыв к созданию „оппозиции“.*

Джиглас: Лучше бы им не перегреваться слишком, так как Горбачев оставил себе свободу маневра. Отметим, какого рода слова он избегает употреблять. В его речах нет ни слова о бесклассовом обществе, о пришествии коммунизма или хотя бы „развитого социализма“ (что было догмой во времена Брежнев), или о том, что Советский Союз перегонит США по производству продукции на душу населения и прочих обещаниях из хрущевской программы 1961 г.

Урбан: *Есть некоторая нехватка страсти в его речах, когда он говорит о руководящей роли партии; это явно непохоже на тон речей, например, Лигачева. В беседе с работниками средств информации в июле 1987 г. Горбачев употребил любопытную фразу: „Партия не должна отставать от процессов, происходящих в обществе“ (Обр. перевод с английского. — Ред.)*

Джиглас: Точное наблюдение. На январском пленуме 1987 г. Горбачев сделал знаменательное высказывание: „Жизнь трудовых коллективов немыслима без партийных, профсоюзных, комсомольских, других общественных организаций“. Это ставит партию на один уровень с комсомолом и профсоюзами. Во многих случаях он хотя и не настаивает на руководящей роли партии, но явно стремится опровергнуть мнение его предшественников о единстве советского общества. И на январском и на июньском пленумах 1987 г. он доказывал: верно, что в советском обществе перестали существовать антагонистические противоречия, но устранение их не означает, что они „выкорчеваны до конца“.

По-моему, это важное признание, что конфликты, вытекающие из групповых интересов, коллективных интересов,

интересов институтов и партий, существуют и способствуют расслоению общества. А раз так, то эти интересы должны получить выражение, что означает скрытое признание плюрализма.

Почти во всех высказываниях Горбачева есть намеки на то, что „паразитические” группы внутри номенклатуры ответственны за нынешнее состояние советской экономики...

Урбан: ... о чем некий Милован Джилас написал больше тридцати лет назад книгу...

Джилас: Да, в „Новом классе” я предвидел многие из нынешних открытий Горбачева. Но еще раньше, в 1953 г., я опубликовал статью в „Борбе”, в которой писал: „Конечно, одна партия не может гарантировать социализм и демократию, но их не может обеспечить также и единое, одноклассовое общество. Противоречивые интересы останутся. Свобода и демократия не обеспечиваются только властью рабочего класса”. Это было концом моей политической карьеры: в январе 1954 г. я был исключен из ЦК.

Знаменательным мне кажется также, что Горбачев ныне хочет допустить к власти и беспартийные кадры. И тут мы обогнали Горбачева на 30 лет. В 1952—1953 гг. некоторые из нас (какое-то время и сам Тито) чувствовали, что руководящую роль партии следует уменьшить и дать больше влияния беспартийным. Я лично доказывал, что власть партии следует сократить, и то же полагали Кардель и Бакарич. Однако Тито, ознакомившись с этой идеей, ощутил опасности приближающейся постсталинской эпохи и не согласился в конце концов.

Урбан: В чем состояли его доводы?

Джилас: Он ревниво относился к своей личной власти, которой он обладал во время и после войны. Он сказал нам, что для успеха революции в длительной перспективе нужна сильная личность, что в Советском Союзе ведущая роль партии абсолютна и что без этого коммунизм развалится.

Урбан: В Венгрии Кадар несколько лет назад выдвинул

беспартийных на более высокие посты, но система не развалилась и его личная власть не пострадала. Его уход в марте 1988 г. никак нельзя приписать влиянию беспартийных элементов. Полагаете ли вы, что это еще произойдет в Венгрии, да и в Советском Союзе тоже?

Джилас: Я затрудняюсь предсказывать. Ясно, что новый курс Горбачева — это конечная фаза сталинистской модели коммунизма, и можно с уверенностью сказать — советской модели коммунизма, ибо (кроме нескольких лет в 20-е годы) другой не существовало. Но это не означает конца автоматического догматизма и ленинизма. В Югославии и в Венгрии сталинистская модель умерла уже сколько-то лет назад, но пережитки прошлого живучи. Однопартийный режим и полицейский контроль находятся, увы, в добром здравии.

Урбан: Но ваш учебник коммунизма явно вытасчен из-под стула тех драматических дней, когда вы писали его за решеткой...

Джилас: Я закончил писать „Новый класс” в канун того дня, когда меня посадили за высказывания о венгерском восстании 1956 г. Я сам еще успел переправить первую часть книги за границу с помощью одного иностранного журналиста. Вторую часть прятала моя жена Стефания, а затем и эту часть переправили за границу тем же каналом через несколько дней после начала моего срока. Горько вспоминать все это, сидя в вашем кабинете в Брайтоне 30 лет спустя.

Урбан: Главное различие между Милованом Джиласом и Михаилом Горбачевым в том, что Джилас довел свой анализ коммунистической системы до логического заключения и сказал „нет социализму”, тогда как горбачевский лозунг — „больше социализма”. Интересно, будет ли Горбачев и через пять лет повторять „больше социализма” и что он будет под этим подразумевать, если к тому времени его не „отстранят” от руководства.

„Антипартийная группа, руководимая М. С. Горбачевым...”
Видятся ли вам такие слова будущего заявления ЦК?

Джилас: При советской власти нет ничего невозможного. Но столь радикальную „реставрацию”, по-моему, не стоит принимать во внимание. Не в обычае политических систем совершать самоубийства. В любом случае, Горбачев, в отличие от Брежнева, кажется мне истинно верящим в свое дело...

Урбан: ... таким был и Милован Джилас...

Джилас: ... и я не могу представить себе Горбачева, председательствующим при упразднении коммунизма. Это человек, который начал уяснять себе, чем больна система, и пытается преобразовать абсолютную монархию в конституционную. В этом он может преуспеть, и это привлечет к ней немало симпатии. Со времени XIX партконференции ясно, что он хочет быть конституционным монархом.

Его планы обновления местных советов и мощной исполнительной власти президента (с ним самим в этом качестве) нацеливают на новое политическое устройство, где усилившийся госаппарат будет служить противовесом власти партии.

„Информировать людей... раскрывать одно преступление за другим”

Урбан: *Может ли советская система преобразовать самое себя даже в тех узких пределах, в которых (как вы отметили) поддается преобразованию любая коммунистическая система, не раскрыв всего, что подлежит раскрытию относительно советского прошлого? Можно ли планировать будущее без усвоения опытом уроков прошлого?*

Джилас: В длительной перспективе восстановление советского прошлого — важная предпосылка горбачевской перестройки. Советские историки нередко фальсифицировали советскую историю. Особенно преуспели они, как известно, в том, чтобы

представить путч 1917 г. против Временного правительства и разгон Учредительного собрания как „Революцию”. Полную правду о коллективизации 1931—1933 гг. и об искусственном голоде, вызванном ею, еще предстоит сказать. То же относится к показательным процессам, „Большому террору” и другим явлениям сталинского деспотизма. Советские люди не смогут понять окружающую их действительность, если не будет сказана правда о корнях этой действительности. В наш век телевидения и коротковолнового радиовещания нельзя скрыть от людей подлинную историю советской системы. Вопрос лишь в том, будут ли они выдавать ее по капле, с каждым разоблачением добавляя людям потрясений, или преподнесут полный рассказ, и пусть вина падет на кого следует. Советская история должна быть переписана с первого дня, переписана с полной интеллектуальной целостностью.

Призывы к переоценке сталинского прошлого ныне открыто выдвигают некоторые советские историки, такие как Александр Самсонов, и отвергают другие, например, Исаак Минц. Юрий Афанасьев в газете „Советская культура” настаивал на том, чтобы власти разрешили полную переоценку репрессивной власти Сталина, считая, что сокрытие исторических фактов лишает людей самоуважения и духовных сил. Он считает недостаточным отменить сталинский террор как „ошибку” или „личные особенности”, к чему так склонны советские историки.

Это существенные перемены, особенно поскольку они сопровождаются призывами к переоценке эпохи Хрущева, которая имеет черты, сходные непосредственно с эпохой Горбачева. Великолепный очерк Федора Бурлацкого о Хрущеве („Литературная газета”, 24 февраля 1988 г.) и беспощадная критика Андрея Вышинского Аркадием Ваксбергом („Литературная газета”, 27 января 1988 г.) — весьма важные показатели.

Урбан: *В советском шкафу немало скелетов. Горбачев об этом знает. Я не думаю, что он возражал бы против того, чтобы скелеты схватили кого-нибудь из живущих, но похоже, ему очень не хочется, чтобы духовные поиски обратились в Ночь Длинных Ножей. Его дилемма проявилась в двух противоположных*

ных по духу материалах, появившихся в советской печати, по иронии судьбы, в один и тот же день – 21 июля 1987 г.

Газета „Известия” критиковала „искажения исторической правды в советских учебниках истории” и призывала к созданию объективных книг по истории, так как реформы, начатые в СССР, могут сделать необратимыми только люди, которые не боятся говорить правду, которые имеют свое мнение и способны отстаивать его... Далее „Известия” критикуют некоторые (не все) ложные концепции советской истории – только что вами упомянутые:

„В период после второй мировой войны развилась тенденция к приукрашиванию истории страны. Из нее были вычеркнуты определенные имена и даже многие факты, такие как санкционированные свыше насилия в ходе коллективизации, когда крестьяне принуждали вступать в колхозы, голод 30-х годов, отрицание генетики и кибернетики, которых провозгласили лженауками. Учебники истории не могли объективно оценить И. Сталина...”

Совершенно иное мнение высказала „Правда” в письме некоего Георгия Васильевича Матвейца:

„Мы, школьники, бывали на субботниках, на стройках и предприятиях. Воочию видели, как строился социализм в нашей стране. В этой атмосфере удовлетворения своим простым рабочим делом формировались наши души, наше сознание... Все это – пятилетки, Стаханов, успехи колхозного крестьянства, перелеты Громова, Чкалова, Челюскинская эпопея, дрейф Папанина и его товарищей и многое другое – было. И делалось оно советскими людьми не из-за страха, а по совести. Люди были воодушевлены великой идеей. Она их мобилизовала, они рвались вперед... Это было время, когда действительно сказки делали былью... Это была реальная, героическая деятельность советских людей, которую никак нельзя перечеркнуть никакими просчетами, ошибками, даже преступлениями одного человека, пусть он был даже в кители генералиссимуса... Мне кажется, что у тех, кто так очерняет нашу историю, нет чувства уважения, любви к своей стране, к своему народу...”

Положению Горбачева явно не позавидуешь. Он был бы, как он не раз отмечал, счастлив припречь к перестройке правдиво рассказанное прошлое; но социальной базы для такого

правдиво рассказанного прошлого не существует, во всяком случае, – пока не существует. Многие люди из СССР отождествляют свой труд и честь со сталинской эпохой и не желают от нее отказаться и поносить ее. Лигачев – один из их представителей, а консервативный манифест Нины Андреевой „Не могу поступаться принципами”⁶ – лишь один из многих показателей настроений.

Джилас: Это действительно проблема; но Горбачеву придется ею заниматься, хотя бы по стадням. Предположим, что мы обсуждаем с вами проблемы гитлеровской Германии. Разве не могли бы миллионы немцев с полным убеждением доказывать, что в 30-е годы они вложили свой труд и энтузиазм в преобразование пораженной инфляцией и безработицей Германии в благополучное и могучее государство, и что их достижения нельзя принижать из-за ошибок и преступлений одного человека – Адольфа Гитлера?

Никто, обладающий чувством ответственности, не мог бы согласиться с такими доводами в Германии, и еще менее – за ее пределами.

Я не хотел бы заходить в своих аналогиях слишком далеко, ибо системы несопоставимы. Все же я полагаю, что руководство государством налагает особые обязанности на реформистского лидера горбачевского типа. Если он считает – а это именно так – что сталинское прошлое обременило Советской Союз тяжелой ношей, которую страна не может далее нести ни во внутренней, ни в международной политике, то он должен подхватить традиции десталинизации там, где остановился Хрущев, и не бояться сентиментов, высказанных „Правдой”, которые (тут я вам верю) весьма распространены, но все-таки не являются решающими.

Урбан: Даже генерал Ярузельский на страницах „Коммуниста” призывал Горбачева идти в этом направлении. Он хотел бы услышать правду о вторжении в Польшу в 1939 г. и открыто-го обсуждения вопроса об ответственности за Катынь.

Джилас: Горбачев – популистский радикал типа, весьма не

похожего на русский. Он не уповаает на контроль властей над людьми. Он считает, что люди должны и могут руководить сами, если у них есть нужная информация. Выступая перед рабочими Целинограда 29 июля 1987 г. он сказал:

„Все говорят, нужен контроль... Ну а кто это должен сделать?... Если мы будем рассчитывать на контролеров, тогда мы этот аппарат еще должны увеличить. И надо через демократию, чтобы народ во всем участвовал, вот это — самая главная гарантия. Народ все видит, все знает. И никакой контролер не спасет, если народ не будет обо всем знать. Вот почему нужна гласность”.

Столь возвышенные чувства довольно распространены, и они показывают веру в народную мудрость, гарантий которой история не дает никаких, тем более русская история. Но мудрость свойственна свободному и хорошо информированному народу. Как Горбачев намерен продолжать информировать его (раскрывать преступление за преступлением, ложь за ложью?) о длительном сталинском прошлом, естественным и неизбежным последствием которого являются нынешние советские трудности? Недостаточно похвалиться тем, как он это делает, что партия была сильна, что „мы критикуем себя так, как никто ранее нас не критиковал ни на Западе, ни на Востоке...” Если партия так сильна — дайте правду и ничего кроме правды. Мы должны настаивать на этом, ибо, по сути дела, либерализация советской системы важнее, чем соглашения с советским государством о контроле над вооружениями.

Урбан: Не кажется ли вам, что Горбачев сдерживает свое нетерпение и двигается поэтапно? Похоже, он решил сначала лишить сталинскую эпоху ореола героизма; а затем, создав вокруг Сталина психологически нейтральную атмосферу и почувствовав, что время пришло, обогнать Хрущева в разоблачении. Тогда, возможно, он предпримет лобовую атаку на Сталина и свяжет это с борьбой за свою неограниченную власть.

Действуя так, он получит широкую поддержку. „Чтобы покрыть прошлую вину хотя бы морально и избежать повторения незаконных в будущем, — говорят в своем обращении эстонские творческие союзы, — мы считаем необходимым, чтобы партконференция оценила сталинские репрессии как преступ-

*ления, направленные против партии, советской власти и гуманности... Наряду с этим необходимо завершить и сделать публичной реабилитацию невинных жертв того периода и увековечить их память”.*⁷

Джилас: Похоже, что тактика Горбачева — осторожная десталинизация. Чуть ли не каждый день он и печать, представляющие его, делают следующий шаг в направлении полного расчета со сталинизмом. Его позицию можно сформулировать следующим образом: „Мы не можем и не должны прощать и оправдывать то, что произошло в 1937—1938 гг. Отвечают за это те, кто был тогда у власти; но это не отнимает у нас того, что мы имеем теперь, того, что совершили партия и народ, подвергаясь этим испытаниям”.

Я могу принять это как формулу перехода. Это, я полагаю, и есть формула перехода, не более того.

Сможет ли аппарат ждать окончательного удара, если дело дойдет до этого? Я сомневаюсь. Хвала В. М. Чебрикова (10 сентября 1987 г.) Феликсу Дзержинскому в 110-летний юбилей со дня его рождения (Дзержинского восхваляли как великого и гуманного лидера) должна была заставить Горбачева задуматься, марширует ли он и глава его КГБ под одну и ту же музыку:

„Специальные службы империализма пытаются нащупать новые лазейки для проникновения в наше общество... с целью навязать советским людям буржуазное понимание демократии... расколоть монолитное единство партии и народа, насадить политический и идеологический плюрализм... У нас есть носители чуждых и даже откровенно враждебных социализму идей и взглядов. Отдельные из них становятся на путь совершения антигосударственных и антиобщественных действий... Есть и такие, кто готов пойти на прямое сотрудничество со спецслужбами империалистических государств, предать родину”.

Затем идет предостережение:

„Необходимо ясное понимание того, что перестройка в нашем государстве и обществе осуществляется под руководством компартии, в рамках социализма и в интересах социализма. И этот революционный процесс будет защищен от любых подлых происков!”.

Что же, это суровое предостережение, особенно в речи, опубликованной в „Правде” под заголовком (весьма злоевающим) „Что делает его (Дзержинского) нашим современником”. С тем же успехом Чебриков мог сказать „Что делает Сталина нашим современником”.

Странная личность этот Чебриков; мы слышали от Лигачева (на XIX партконференции), что он принадлежал к той малой группе членов политбюро (к ней относятся также Громыко и Соломенцев), которая помогала Горбачеву вскочить в седло на мартовском пленуме 1985 г. Кто изменился — Чебриков или Горбачев? Или существует некий сговор между реформистами и консерваторами, которого мы пока еще не можем разгадать?

Будет ли аппарат спокойно ждать окончательного удара, если до этого дойдет? Этого нам еще придется подождать. Если база власти Горбачева вне аппарата будет достаточно сильной, если он сможет дать больше продовольствия и потребительских товаров, если личные интересы аппарата не будут слишком задеты, то это возможно... А если нет, то не будет ждать. Манифест Нины Андреевой — это сигнал, который он не может игнорировать.

Горбачев — ученик Джиласа?

Урбан: *Вы говорили, что югославская историческая наука стала достаточно независимой и достоверной. Распространяется ли это и на отношение к вам?*

Джилас: Да, дело идет к тому. Когда они пишут обо мне в статьях и журналах, они цитируют мои речи 1949–1951 гг., приводят фотографии. Цитаты правильны, а комментарии нейтральны.

Урбан: *Вы можете привести примеры?*

Джилас: Например, они пишут, что в такой-то день ЦК обсуждал вопросы высшего образования, и Милован Джилас сказал то-то. Они не приукрашивают официального протокола и не искажают сказанного мною.

Урбан: *Но вам еще далеко до реабилитации?*

Джилас: При нынешнем режиме я никогда не буду реабилитирован на политическом уровне. Вы видели, как югославский премьер-министр набросился на меня в „Шпигеле” (23 марта 1987 г.). Он назвал меня „предателем” по существу. Это вряд ли обещает реабилитацию. В печати, однако, я в какой-то степени морально реабилитирован, как некий коммунистический руководитель прошлого, который играл некоторую роль и был, скажем, не хуже других. Такая линия взята в отношении меня.

Урбан: *Мне не совсем ясно, почему при наличии „горбачевского фактора” в коммунистическом мире вы не можете быть реабилитированным также и на политическом уровне.*

Джилас: Видите ли, я веду переговоры с югославскими издательствами, и есть какая-то вероятность, что мои воспоминания „Время войны” (опубликованные в США и в других странах несколько лет назад и привлечшие немало внимания) появятся в Югославии. Историк, пользующийся доверием нынешнего руководства, после некоторых колебаний, отважился высказать мнение, что книга не враждебна революции, сносно написана и представляет собой важное свидетельство. Если книга выйдет, я почувствую, что „морально реабилитирован” как автор (но не как политик) окончательно.

Я бы сказал, что я и не ожидаю политической реабилитации, ибо она означала бы признание властей, что я всегда был прав, а это, с их точки зрения, может вновь открыть дорогу моим идеям.

Урбан: *Но это факт, что вы по существу были правы почти во всем, о чем писали. Вы первый описали „новый класс”, коррумпирующее воздействие привилегий, разрыв между словами и делами в практике коммунизма, отсутствие демократии в социалистическом обществе, фальсификацию истории и так далее. Возможно, ваше несчастье в том, что вы оказались правым преждевременно, но должно ли это ставиться вам в вину через три десятилетия?*

Джилас: Я последний, кто бы не согласился с вами. Было бы ложной скромностью с моей стороны отрицать, что нынешняя „оттепель“ в Советском Союзе не вызывает у меня некоторого удовлетворения. Но в политическом мире от правоты до правосудия путь долгий.

Урбан: *Позвольте мне быть откровенным до конца. Не опасается ли режим, что если вы будете полностью реабилитированы, то сделаете заявку на власть?*

Джилас: Нет, этого режим не опасается. Он боится лишь того, что моя реабилитация может вызвать волнения в партии. Я никогда не был угрозой политической власти партии, но я действительно придавал силы оппозиции в идеологии и, вероятно, это может возобновиться. А идеология оправдывает существование партии и снабжает ее лексиконом; опасности в этой области руководство не отваживается преуменьшать.

Урбан: *Хотели бы вы вновь оказаться у власти?*

Джилас: Каждый человек с идеями хотел бы видеть их практическое воплощение. Время от времени и мной овладевало такое желание. Я хотел, чтобы мои идеи приобрели некоторое влияние, ибо я верил в их правоту. Но я никогда не жаждал власти, и теперь тоже власти не желаю.

Урбан: *Ваше описание Тито в книге воспоминаний⁸ явно не может служить препятствием к реабилитации в политике, ибо он изображен вами удивительно благожелательно и даже с восхищением. Вы изобразили его абсолютно убежденным коммунистом, человеком цельным и с кругозором. Никто не может и теперь, после смерти Тито и, следовательно, без опасности для себя обвинить вас в том, что вы мстите Тито, изображая его злобно.*

Джилас: Вы, вероятно, удивитесь, услышав, что некоторые белградские оппозиционеры считают мою книгу слишком дружественной по отношению к Тито. „Ваша порядочность по

отношению к нему чрезмерна, — говорили мне, — он был намного хуже, чем вы его показали“. Я такой точки зрения не принимаю. Я описал Тито настолько корректно, насколько мог. Я пытался развеять иллюзии, но я признавал высокие качества этого человека.

Урбан: *Когда я читал эту книгу, мне подумалось, что, возможно, возвышая Тито в истории больше, чем он того заслуживает в глазах объективного историка, вы делали это потому, что таким образом вы возвышали и самого себя. Это может прозвучать неприятно, но не все ли мы склонны к этому? Если вы показываете коллегу-писателя или политика, с которым у вас были хорошие (или даже плохие) отношения, значительным человеком, вы автоматически ставите себя на ту же степень значительности. Вы с Тито могли иметь расхождения, но (и так должен понимать это читатель) эти расхождения были разногласиями великих людей, и имели они историческое значение. Не сыграли ли роль такие соображения?*

Джилас: Бесспорно то, что они не были сознательными. Возможно, подсознательно и это могло окрашивать мои писания. Но я льщу себя надеждой, что моя интеллектуальная позиция существенна сама по себе и независимо от Тито. К тому же я не сыграл той политической роли, которую приписывают мне некоторые западные комментаторы. Меня не предназначали в преемники Тито. В иерархии югославского руководства я был, вероятно, на четвертом месте, после Карделя и Ранковича, хотя я достаточно суетен, чтобы полагать, что я пишу лучше, чем Кардель, и был более оригинален как идеолог. Но в терминах политики власти я был лишь номером четвертым и никогда не думал о себе как о претенденте на власть. В то же время к Тито я до конца его дней сохранил какую-то симпатию как к югославскому революционному лидеру и как к человеку. Отсюда, видимо, ваше впечатление, что Тито в моих книгах выглядит лучше, чем этого хотелось бы его критикам (и некоторым моим друзьям) и чем они ожидали.

Урбан: *Но вы были (во всяком случае, в моих глазах)*

хранителем, если можно так выразиться, чистоты идей революции. Вы были фанатичным коммунистом, когда почувствовали, что нужно бороться и со старым порядком, и с новым шестивием. Вы с подозрением отнеслись к Сталину, когда он стал покушаться на независимость Югославии. Вы все резче критиковали своих товарищей-коммунистов, обнаружив, что „диктатура пролетариата” разворачивает, как и любая другая диктатура. А когда чаша переполнилась, вы объявили, что коммунизм — обман; что революция превратилась в обман, а коммунизм не способен решить ни одной проблемы, беспокоящей мир.

Поэтому, каково бы ни было ваше место в югославской иерархии, в истории вы действительно останетесь рядом с Тито, как некое антититовское коммунистическое сознание в Югославии, как еретик, который, может быть, спас веру (во всяком случае, к собственному удовлетворению), предав развращенную церковь огню. Метафора, возможно, слишком цветистая. Но это дает мне повод спросить, действительно ли вы сегодня видите себя еретиком революции?

Джилас: Революция — это всегда человеческая трагедия. Я не люблю романтизировать ее, и мне весьма не нравятся люди, которые это делают. И югославская революция была большим злом, хотя было бы ошибкой утверждать, что ее можно было избежать. Наша революция действительно решила некоторые проблемы, унаследованные от королевской Югославии, но она не удовлетворила чаяний революционеров. Революции никогда этого не делают. Нет большего оскорбления моему сознанию и моему чувству интеллигентности, чем утверждения о „гуманности” революции, о том, что революция „изменила ход истории”. В истории нет таких крутых водоразделов; я не могу понять, как безмерные кровопускания и страдания могут обозначаться термином „гуманизм”, даже в приукрашивающей действительность ретроспекции. И все же время от времени революции неизбежны, ибо преступность и развращенность правящих классов, видимо, являются неискоренимой чертой истории.

Я был, как вы правильно заметили, абсолютно верующим коммунистом. Коммунизм был для меня не только социальной политикой и не только средством манипулирования людьми; он

не был для меня трамплином для продвижения или путем достижения и отправления власти, а глубоким, личным моральным обязательством, сильным, как религия.

Только подлинно верующий имеет право восстать против собственных убеждений и отбросить их с риском быть осужденным за ренегатство или ересь. Когда я критиковал революцию и диктатуру, которая следует за революцией как страшное бедствие, я говорил как человек, страстно верящий в революцию, но познавший на горьком опыте и после долгих размышлений, что революции, может быть, и тешат темперамент революционеров, но в сущности ничего не достигают. Это не означает, что революции неоправданы, когда жестокие несправедливости переполняют чашу терпения и все мирные средства их исправления исчерпаны. Однако революции должны быть крайним средством.

Если вы считаете меня хранителем совести югославской революции, нераскаившимся еретиком, который отвергает революцию, — я принимаю это без возражений.

Урбан: В 76 лет, оглядываясь на прожитую жизнь, чувствуете ли вы что, потеряв власть в 1953 г., вы лишились чего-то жизненно важного? Или писательская работа возместила эту потерю?

Джилас: Возместила и более чем возместила, ибо она была ближе моему истинному „я”, нежели пребывание у власти. Если вы скажете мне: „Выбирай между управлением Югославией и писанием книг”, я бы ответил: „Если бы я знал, что могу сделать нечто существенное для свободы и процветания Югославии, я бы выбрал руководство”. Но если бы мне сказали: „Выбирай между властью под згидой Тито и следованием своему писательскому призванию”, я бы выбрал писательство без колебаний.

Урбан: Объясняется ли это тем, что писательство само по себе род власти, или оно доставляет вам столь большое удовлетворение?

Джилас: Скорее последнее. Я, как вы знаете, не только политический писатель. Я также и беллетрист. Обстоятельства связали меня с политикой, но власть меня не привлекает, во всяком случае ее повседневное отправление. Последствия той малой власти и влияния, какие у меня были, жестоко сказались на моей жизни, когда мой срок пребывания у власти закончился. Но львиную долю страданий перенес не я, хотя я дважды сидел в тюрьме, а моя семья и родные. Подлинными жертвами были моя жена Стефания и сын Алекса. Моя жена, молодая и сильная женщина, смогла справиться с трудностями. Но сыну Алексе было только четыре года, когда я впервые попал в тюрьму, и девять — когда мне дали второй срок. Для маленького мальчика пребывание отца в тюрьме — страшный шок. Для мальчиков отцы — герои. Видеть отца униженным, за решеткой, я думаю, — самое худшее, что может случиться с ребенком.

Урбан: *Надпись, которую вы сделали на моем экземпляре вашей книги „Возвышение и падение“,⁹ гласит: „В знак свидетельства, что мое „падение“ было более славным, чем возвышение...“ Можно ли это считать подведением итогов вашей карьеры?*

Джилас: История лучше относится к тем, кого мир и церковь, к которой они раньше принадлежали, рассматривают как еретиков, нежели к тем, на кого так не смотрят. В этом смысле мое „падение“ было более „славным“ чем „возвышение“. Но в этом посвящении есть также и обращение к вам. Публикуя беседы со мной, вы дали миру свидетельство о моем „падении“ и придали ему такой ракурс, который представляется мне новым и побуждает к размышлениям.¹⁰

Урбан: *Ранее я сказал, что вы были хранителем чистоты революции. Могли ли вы изменить метафору и сказать, что во многих отношениях вы были философом, который стал королем (даже если вы были лишь вице-королем при Тито)? Вы оказались в положении, когда вы как коммунист-интеллигент могли провести в жизнь многие ваши идеи, ибо у вас было немало власти.*

Джилас: Нет, только Тито был королем, и он был мстительным королем.

Урбан: *Но разве вы не были по существу наставником Тито? Когда ваши наставления были отброшены, „любовь философа к мудрости“ побудила вас взять узелок и покинуть компанию. Вы обнаружили, что ваш монарх не достоин своего королевства...*

Джилас: Нет, я не был философом ни в каком смысле; но я видел императора без мундира, без короны и орденов; и это зрелище действовало отрезвляющим образом.

Самое большое, что я могу сказать о себе — что я был мыслителем при дворе Тито, но мыслителем без претензий. Моя амбиция состояла (и сегодня состоит) в том, чтобы с помощью пера и бумаги, писанным словом как-то повлиять на судьбу моей страны. Тут я не исключение: нет ни одного сербского писателя, который не пытался бы участвовать в формировании будущего своего народа. Такая вовлеченность, вероятно, характерна для интеллигенции всех малых народов. Но особенно это верно для тех народов, которые поздно вышли на историческую арену или находятся под угрозой уничтожения. То же вы можете наблюдать в Польше и в Венгрии в XIX веке и сегодня. Осознание того, что ваш народ находится на грани катастрофы, чудесным образом концентрирует умы интеллектуалов на единственном, что имеет значение — выживании.

Урбан: *Теперь вы ясно указываете на „нацию“ как на объект вашей подлинности верности. Не находится ли это в некотором противоречии с поддержкой, которую вы оказывали „еврокоммунизму“ в 70-е годы и подспудным одобрением горбачевских реформ?*

Джилас: Ни в коей мере. Следует приветствовать все, что ослабляет генетически негодную политическую систему. Все, что облегчает болезнь — уже большой шаг для тех, кто от нее страдает.

Урбан: *Но разве „еврокоммунизм“ и „горбачевизм“ не*

поддерживают европейских и американских левых, всегда доказывавших, что в основе советской системы нет ничего плохого? Стоит лишь убрать наслоения и искажения, и „социализм“ воссияет вновь как путь в будущее.

Джилас: Готовых подписаться под столь ошибочными идеями осталось до смешного мало. Советская система стала антимodelью. Даже 70 лет непрерывного „горбачевизма“ не усовершенствуют ее настолько, чтобы эту систему можно было сравнивать с либеральными демократиями, предлагающими массу возможностей и свобод. Искушать это может только дураков и негодяев.

Так что позвольте мне просто повторить, чтобы больше не возвращаться к этому: коммунизм, выбранный из Маркса и разрушенный Лениным, совершенно непривлекателен. Он изначально ошибочен и не работает. Можно исправить какие-то его ошибки, наложить заплатки на его дефекты, но превратить его в приемлемую систему невозможно. Говоря так, мы не отрицаем того, что Маркс был великой исторической личностью и оригинальным мыслителем в ряде областей. Последний раз я перечитывал „Капитал“ в конце моего пребывания на государственном посту, весной 1950 г. Нашей задачей был поиск путей отхода от сталинизма. „Капитал“ оказался мне вполне подходящим для таких поисков. Во втором томе я наткнулся на идею самоуправления и сообщил об этом друзьям и Тито. Однако Тито не воспринял ее немедленно, несмотря на респектабельность источника.

Урбан: Почему?

Джилас: Вначале он просто не понял, что я имею в виду. Самоуправление находилось вне стандартного коммунистического опыта, для этого не было ни санкций, ни образца. Однако, будучи человеком практичным и интеллигентным, Тито, вероятно, понял, что это может оказаться неплохой идеей. Однако и она не сработала. Но два момента я хотел бы отметить. Во-первых, Маркс снабдил нас в наших поисках неортодоксальных экономических решений практической идеей, которую Советы только

сейчас начинают осваивать (когда она впервые была провозглашена в Белграде, ее отбросили как „предательскую“). Во-вторых, Тито неплохо использовал чужие идеи, но не мог породить их сам. В этом он был похож на Сталина. Даже концепция „дostroения социализма в одной стране“ была бухаринской, а не сталинской (это может, вероятно, осложнить, а то и — кто знает? — облегчить полную политическую реабилитацию Бухарина).

Урбан: *Даже в узком кругу высших руководителей была нужда обращаться к священному писанию?*

Джилас: Была. Вопрос оформления был весьма важен. Чтобы пойти в этом новом направлении и предложить самоуправление обществу и миру, было важно иметь каноническое подтверждение. Разумеется, мы с вами понимаем, что любая ересь должна придерживаться канонических текстов, давая им по существу неортодоксальное толкование. С Марксом у нас даже в этом не было нужды, ибо у него столько двусмысленного или просто „антикоммунистического“ (в сталинском толковании коммунизма), что мы с легкостью можем найти там все, что соответствует любой цели.

Урбан: *Этим инструментом Горбачев еще не воспользовался, но наверняка хорошо знаком с ним. Пока все его реформы идут в обертке ленинизма, который он толкует столь же избирательно; но кто знает, что принесет будущее. Если, например, он захочет ослабить главенствующую роль партии, он может вернуться к Марксу и отыскать прекрасные доказательства, что идея коммунистической партии была отвергнута в „Коммунистическом манифесте“; он сможет использовать и другие упрощения и двусмысленности у Маркса, чтобы либерализовать систему, не отклоняясь от „первоисточников“.*

Джилас: Вероятно, сможет доказать, но удастся ли ему это сделать, другой вопрос.

Урбан: *Что точно сказал Тито, когда вы впервые предложили ему идею самоуправления?*

Джилас: Первая его реакция, как я уже говорил, была отрицательной. Он чувствовал, что рабочие в Югославии слишком необразованны, чтобы вести самоуправляющуюся экономику. Но когда Кардель, Кидрич и я объяснили, что самоуправление может решить некоторые из самых тяжелых проблем страны и стать примером для других, он быстро понял все и сказал: „Ладно, давайте сделаем это; мы сможем провести это под лозунгом: „Все заводы — рабочим!“”.

Вначале самоуправление действительно дало некоторые успехи. Оно открыло наше хозяйство рынку, снабдило нас оружием против сталинизма и против злодеяний бюрократии. Однако через короткое время самоуправление провалилось по причинам, о которых мы уже говорили, и ныне это источник несчастий, переживаемых страной. Коротко говоря, без экономики свободного рынка и без политического плюрализма самоуправление не может дать положительный эффект. Это еще одна из многих вспомогательных утопий, к которым прибегают коммунисты, когда реальная жизнь отбрасывает главные утопии самоуправления.

Урбан: *Можно ли полагать, что после своего визита в Югославию в марте 1988 г. Горбачев избрал, тем не менее, этот утопический путь? Ведь он восхищался относительным изобилием в Югославии, хорошим снабжением в магазинах и отсутствием очередей.*

Джилас: По сравнению с экономической ситуацией в Советском Союзе, в особенности с продовольствием и потребительскими товарами длительного пользования, Югославия, конечно, — подлинный рай. Но Горбачев сделал бы тяжелую ошибку, если бы принял нашу вспомогательную утопию за решение задачи. То, что мы имеем, мы имеем потому, что мы паразиты; в той или иной степени мы паразитируем на подлинной рыночной экономике и парламентарных демократиях Запада. Наши политические и экономические „успехи” объясняются не раскрытием неиспользованных ресурсов „социализма” (к чему постоянно призывает Горбачев), а лишь отказом от социализма, если не на словах, то на деле.

Урбан: *Преобладающая ныне на Западе концепция социализма, похоже, не заботится больше об „отношениях собственности” и о „собственности на средства производства”, а скорее о равенстве и о принятии политических решений. Согласны ли вы с такой сменой акцентов?*

Джилас: Вполне; и это не просто смена акцентов, а смена концепции социализма. Необходимость такой смены — вот что следовало бы Горбачеву привезти домой из поездки в Югославию.

Пагубная склонность к утопии

Урбан: *Вы говорили, что революция должна стать „последним прибежищем”. Был бы, по-вашему, прав советский народ, если бы он восстал против тирании Сталина?*

Джилас: Прав полностью. С моральной точки зрения, революция для низложения такого чудовища как Сталин была бы правой и уместной. Можно ли вообще найти более моральный стимул, разве что для низложения Гитлера — виновника геноцида?

Урбан: *Почему же тогда не было в СССР организованной оппозиции? Профессор Сидней Хук, который размышлял над этим вопросом, вероятно, более, чем кто-либо из ныне живущих, ставит его со всей остротой (в своей книге „Марксизм и вне его”):*

„Режим Гитлера внутри страны не был столь угнетательским по отношению к большинству его подданных, как режим Сталина — для подавляющей массы рабочих и крестьян. И все же против Гитлера были заговоры и по меньшей мере — одна, пусть неудачная, попытка покушения. Но нет никаких объективных свидетельств о каком-либо движении против Сталина... Почему не было оппозиции, несмотря на вековые традиции революционной оппозиции деспотизму?”

Джилас: Вопрос хороший, но я не в состоянии дать хороший ответ. Сталинский деспотизм не сопровождался разочарованием и застоём в советском обществе. Быстрые темпы индустриализации, культурная революция и дух полной отдачи делу, унаследованный от Ленина, сообщали сталинской системе определенную динамику и цельность, что делало революцию против Сталина невозможной. Письмо из „Правды” (21 июля 1987 г.), цитированное вами, — хороший пример настроений 30-х годов. Роман-шедевр Василия Гроссмана „Жизнь и судьба”¹¹ дает почти толстовское описание того же феномена. Хотя книга эта неровная, автор все же уловил те моменты советской истории, когда двойственность советской жизни особенно была заметной: с одной стороны, сталинский террор и концентрационные лагеря, а с другой — бесспорно вдохновенные и героические общенациональные усилия, сначала во имя индустриализации отсталой России, а затем — ради ее защиты в ходе войны.

Урбан: *Было бы, по-вашему, морально оправданным восстание румынского народа против власти клана Чаушеску?*

Джилас: Абсолютно. Диктатура Чаушеску страшна и позорна. Это глумление над достоинством народа; она не имеет права на существование.

Урбан: *Но вы сказали, что революции редко достигают целей, во имя которых они совершаются.*

Джилас: Это не совсем так. Я сказал, что коммунизм как система оказался полностью безуспешным, хотя в некоторых странах он помог ускорить темпы распространения образования, индустриализации и модернизации. Следовательно, не стоит совершать революцию, если ее итогом прямо или косвенно должна стать коммунистическая система. Есть ситуации, в которых революция могла бы быть морально оправдана, но она всегда повинна в вызываемых ею страданиях. Жертвы всегда слишком велики, если сопоставлять их с достижениями.

Однако поскольку реальный мир именно таков, как он

есть, революции, как и войны, будут происходить. Вряд ли есть народ, у которого не было в прошлом революций. Цена захвата власти Советами была исключительно высокой (гражданская война и революционный террор), как и цена югославской революции, хотя последняя обошлась все-таки „дешевле”, чем Октябрьская революция. Но я не вижу, как можно было избежать и той и другой.

В основе всего этого лежит свойственное человеку, в особенности „коммунистическому человеку”, неустанным увлечение утопиями. Взгляните на утопии, которые просвечивают сквозь риторику Горбачева. Проверьте его (или Рыжкова) высказывания, и вы увидите контуры „нового Иерусалима”: „социалистическое” общество, поддерживаемое сверкающей электронной техникой ядерного века.

Урбан: *Но что нового в этом? Глянец науки всегда была частью мечты „научного социализма”. Но прежде это были тракторы, сталелитейные заводы, каналы и гидроэлектростанции.*

Джилас: Это так, но примечательно, что новые правители Советского Союза, переворачивая (так они уверяют) новую страницу в методах планирования и экономической философии, должны поддерживать эту рабскую склонность к утопии. Они поняли, что сталинизм, „командная экономика” и консервативная бюрократия обрекают систему постоянно проигрывать странам со смешанной экономикой. И вот они вкладывают свою энергию в еще один великий проект, который наверняка окажется иллюзорным; они заблуждаются, что можно подключить современную технику и науку к монолитной политической системе и заставить ее работать как свободный, саморегулирующийся механизм.

Урбан: *Но разве Горбачев не подводит систему к самым границам рыночной экономики и не встраивает (или пытается встроить) в нее немало спорных элементов, нарушающих монолитность системы?*

Джилас: Это так, но он ошибочно воображает, будто

блестящие побрякушки и научно-фантастическое мышление можно впрямь в старую „социалистическую” телегу, как если бы „реальный социализм” был реактивным истребителем, способным летать со скоростью в два маха.

Урбан: Не придется ли Горбачеву рано или поздно признать, что сохранение общественной системы, основанной на анализах Карла Маркса, имеет не больше смысла, чем сохранение дарвинизма XIX века в качестве путеводной звезды в зоологии и биологии в 2000 г.? Это нередко повторяет Сидней Хук, а недавно то же самое сказал сторонник Дэн Сяопина в Китае Ху Яобан. В ноябре он заметил, что Маркс никогда не видел электрической лампы, а Энгельс никогда не видел самолета.

Следовательно, их теориям полностью доверять нельзя. Похоже, что в СССР приходят к тем же выводам. В прошлом году Александр Яковлев признал, что даже семьдесят Марксов не могут предвидеть детали будущего нового общества.

Джилас: Возможно, в глубине души Горбачев сознает, что марксистская концепция социализма — музейный экспонат. Мы не знаем. Но мы точно знаем, что он действует так, будто он верит в правильность принципов советской системы, в возможность ее преобразования посредством техники, духовного обновления и предоставления тщательно дозированных свобод.

Временами я задумываюсь, как отозвался бы Горбачев на наблюдение Павла Милюкова, что в Западной Европе технические революции всегда приводили к развитию демократии, а в России результат всегда был противоположным. Разумеется, Горбачев хочет больше „демократизма” в сочетании с новой техникой, и если он когда-нибудь приблизится к успеху, то, может быть, разобьет порочный круг, о котором говорил Милюков. Но это возможно лишь в далеком будущем.

Я готов верить, что Горбачев придаст некий порыв советской компартии и что некоторые его реформы сделают систему несколько более эффективной. Но я сомневаюсь, чтобы он добился полной „перестройки” в нынешних условиях „социализма”. Мы видели, как необычайно трудно было в Югославии

при нашей широко разрекламированной и совершенно неадекватной „системе самоуправления” заставить частные предприятия работать и вытаскивать экономику из пропасти, в которой она пребывала большую часть трех последних десятилетий. Мы не преуспели в этом, так как не предприняли необходимых политических реформ.

Для меня совершенно очевидно, что нельзя смягчить симптомов болезни коммунизма в целом, изымая отдельные элементы системы или ослабляя их действие. Отсюда следует, по-моему, еще один железный закон коммунизма: любой экономический кризис коммунистического общества есть, на самом деле, политический кризис...

Урбан: *Вы полагаете, что это кризис системы...?*

Джилас: Да, именно таков нынешний кризис в Советском Союзе. На самом деле, речь идет не о застойной экономике, не о ленивом народе и даже не о служащих-взяточниках — речь идет о политической системе, ответственной за то, что все это возникло и расцвело пышным цветом.

Урбан: *Это сильные высказывания для человека, который первым предложил ввести систему самоуправления Тито, неохотно воспринявшему этот совет. И вот, через несколько десятилетий от Горбачева до болгар — вся система идет по вашим стопам, игнорируя горькие уроки югославского эксперимента.*

Джилас: Да, это так, и причина этого, как уже сказано, — в том, что коммунизм одержим утопией. Но утопия эта — особого рода. Если бы она была чистой сказкой, то она не прожила бы долго, и мир не ломал бы над ней голову. Но коммунистическая утопия сочетает видение бесклассового общества, самореализации человека и вечного мира с коварной тактикой и стратегией насилия и с псевдонаучным лексиконом с предложениями решения проблем. Это придает утопическим картинкам некоторое правдоподобие. Насилие вполне реально, а вот „грядущий век мира и изобилия” — не слишком.

Тут несомненный тонкий расчет. Кто не одобрит свободы, равенства, братства и мира? Кто же против милосердного „тоталитаризма Платона, с которым коммунистическое видение имеет некоторое сходство? Проблема в том, что коммунистическая утопия не может быть внедрена в практику без изменения природы чеповека, а это требует насилия. Коммунизм — это утопия власти, это институционализированное насилие. И ни экономическая реформа, ни „перестройка“, ни временная свобода дискуссий этого не изменят.

Урбан: *Вы сами, в бытность коммунистическим руководителем, не колеблясь делали утопические предсказания, как вы с сожалением признаетесь в „Возвышении и падении“ (1985 г.). В 1948 г. вы заявили в журнале Коминформа, что через десять лет Югославия догонит Великобританию по производству продукции на душу населения.*

Джилас: Вот почему я хотел бы видеть на одежде каждого свободного и интеллигентного человека девиз: „Вы должны противостоять коммунизму!“ Долг тех из нас, кто вышел из коммунистического движения и знает природу этого животного, — сделать эту истину ясной и доступной мышлению людей, увлеченных новыми утопиями Горбачева. Наши усилия не будут напрасными, если мы сможем убедить Запад сохранять силу и учиться искусству использовать политический кризис советской системы в собственных интересах и на условиях Запада.

Урбан: *Но именно в этом Запад слабее всего. Советские руководители всегда имели на своей стороне преимущества еретиков — традиционную способность молиться у всех алтарей.*

Джилас: Именно так, и вот почему так важно, чтобы западные политики, журналисты и все, кто формирует общественное мнение, взяли на себя труд изучить, что вызывает хромоту различных коммунистических систем и как Дзэны и Горбачевы пытаются удержать на плаву свои прохудившиеся корабли. Борьба в мире идет не за уровень вооружений, а за политические преимущества и за победу на международной политической

арене. Запад плохо играет в эту игру и, что особенно удручает, играет все хуже.

С приходом Горбачева чрезвычайно возросла политическая умелость и эффективность выражения традиционной советской враждебности к Западу. Посмотрите на обращения Горбачева к советским дипломатам, к учителям русского языка, к писателям и интеллигенции Запада. Дня не проходит, чтобы новый советский руководитель не обратился к какому-либо нервному узлу западного мира, и все это через головы западных правительств. А Запад не платит той же монетой. Исключение — лишь передачи по западным радиостанциям. Я не вижу специалистов по советским делам, направляющих американскую, британскую или французскую политику, но нельзя не видеть советских специалистов по США и Западной Европе (Яковлев, Добрынин, Фалин и др.), формирующих политический и психологический климат в Кремле, и при том — с заметным успехом.

Рано или поздно успехи Горбачева должны будут заставить западные правительства переосмыслить методы отношений с Москвой. Почему М. Тэтчер и президент Миттеран не настояли, чтобы в Москве или в Пекине их представляли люди калибра Хью Сетон-Уотсона, Леонарда Шапиро (оба уже ушли от нас, к большому сожалению), Роберта Конквеста или Алена Безансона?

Урбан: *Официальная концепция Запада по-прежнему основана на предположении, что Советский Союз — это государство, а не казус, феномен. Если это государство, с ним ведут отношения на основе силы и использования комбинации силы и дипломатии, чтобы держать его на присущем ему месте. Если это казус или не государство, и казус, то мы не знаем, как с ним обращаться. Говорят, эпоха веры осталась позади. Нам в общем-то неловко вести идеологические битвы, и мы делаем это очень плохо. Фактически мы полностью сдали поле политической борьбы Советскому Союзу.*

Джилас: Однако показать пустоту коммунистической утопии совсем не трудно. Посмотрите, как рушились различные

утопии Мао — „большой скачок“, „сто цветов“, „культурная революция“. Что от этого осталось? Нищета, голод, чудовищная отсталость, которую „прагматик“ Дэн пытается теперь преодолеть. Посмотрите на хрущевскую программу 1961 г., в которой предсказывалось, что к 1980 г. Советский Союз перегонит США по объему производства на душу населения, что квартиры и транспорт станут бесплатными! Что от всего этого осталось? Разрушенная экономика и примитивное сельское хозяйство, которые Горбачев пытается спасти как только может. Доля СССР в мировой торговле составляет лишь 4%, а помощь СССР зарубежным странам меньше, чем помощь Нидерландов.

Взгляните на провал югославского эксперимента, который вынудил не кого-нибудь, а премьер-министра Бранко Микучича признать (в журнале „Политика“, 17 августа 1987 г.), что „система самоуправления“ — причина экономической катастрофы в стране. Внешний долг Югославии достиг 23 млрд. долларов; инфляция увеличивается на 150% ежегодно; убыточным фирмам ныне дают возможность объявлять себя банкротами, что оставляет без работы тысячи рабочих; по стране идут забастовки.

Все разновидности коммунизма закончились экономической катастрофой. Лекарства, предлагаемые советской системе Михаилом Горбачевым, не могут сравниться со средствами, примененными Маргарэт Тэтчер в Англии. Это первое послание миру о рухнувшей утопии марксизма-ленинизма. Другой урок — о сомнительных достоинствах централизованного планирования и национализации — должен быть адресован западноевропейским левым. Если советские руководители ныне вынуждены прибегать к „приватизации“ экономики, может ли западноевропейская левая убедить кого бы то ни было, что следует ориентироваться на расширение коллективной собственности?

Урбан: *В вашем бичевании утопического элемента в коммунизме я вижу слабое звено. Если коммунизм — универсальная идеология (а он именно таков), то я не вижу, как он может обойтись без комплекса тесно увязанных задач и целей на далекое будущее, которые, как магнит, привлекали бы к нему последователей. Никто в коммунистическом движении не ожидал, что бесклассовое общество и всеобщее изобилие будут*

достигнуты легко, если они вообще достижимы. Но коммунисты, вероятно, будут доказывать (как это делал Лешек Колаковский на ранней, марксистской фазе своего развития), что утопический элемент — существенная часть любого радикального мышления. Без этого никакое революционное движение не оторвется от земли и не удержится в полете. Мелвин Дж. Ласки — отнюдь не сторонник утопий или революций — написал большую книгу о радикальных мыслителях, веривших, что „благородные мечты и великие дела не имеют реальной жизни вне связи друг с другом“¹²). Не нужно быть коммунистом, чтобы признать эту истину. Идеалисты любой политической окраски подписались бы под ней.

Джилас: Идеализм это одно, а институционализируемая ложь, посредством которой идеалы переворачиваются с головы на ноги, а реальные вещи искажаются посредством софистики — это совершенно другое. Если вы пройдёте по списку всего того, что коммунистические руководители обещали в своих речах и программах, и перепишите их в одну колонку под заглавием „Обещания“, а затем составите вторую колонку под заголовком „Факты“, то посредине нужно будет написать „читай наоборот“, чтобы вторая колонка выглядела правдивой.

Например, коммунисты обещали бесклассовое общество, а создали общество, основанное на привилегиях и включающее класс монопольных держателей власти. Они обещали научную эффективность, а пронесли на свет гнетущую отсталость и неэффективность. Они обещали хозяйственное изобилие, но создали условия жизни, которых постыдились бы некоторые страны „третьего мира“. Они обещали мир и устранение противоречий между „социалистическими странами“, а породили советско-китайский конфликт, войну между Вьетнамом и Кампучией, оккупацию Венгрии и Чехословакии, и превратили Югославию в пугало. Вместе с Марксом они отвергали „культ личности“, а создали Мао, Сталина, Ким Ир Сена, Чаушеску и других тиранов — самые чудовищные культы личности, какие знала история. Список можно продолжить. Я думаю, вы согласитесь, что простейшее опровержение торжественных обещаний коммунистических властелинов подрывает притягательную силу их утопий.

Урбан: Факты о советской системе, которые ныне выходят на свет, пункт за пунктом подтверждают то, что западные ее критики говорили последние сорок лет, и за что их охаивали.

Было забавно услышать о югославском коммунисте, который, будучи разочарован деятельностью и достижениями партии, вернул свой партбилет и решил подать на партию в суд по мотивам, близким сказанному вами. Он заявил, что вступил в партию и много лет платил членские взносы, полагая, что партия даст ему социализм — дешевое жилье, бесплатное медицинское обслуживание, достойный жизненный уровень, хозяйство без инфляции, полную занятость и т. п. Но поскольку партия не может предоставить ни один из элементов социализма, ради которых он в нее вступил, он считает это нарушением договора и требует деньги обратно. Это мужественный человек, и на его стороне весьма существенная доля правды.

Джилас: Поистине, — коммунизм — не только род научно-образной утопии; это утопия, которая только и может существовать как утопия. Коммунизм (или „социализм“) как реальная программа функционирования человеческого общества — это чушь, опасная чушь. Семьдесят лет коммунистической истории вынуждают нас записать этот простой вывод как факт и предостережение.

Урбан: Вся история идей пронизана утопиями того или иного рода. Утопии, дошедшие до применения в практике, обычно вызывали разрушения и кровавые боины. Прочие остались, пожалуй, загадочными полетами воображения, с которыми вряд ли стоит спорить. Или стоит?

Джилас: В 1968 г. я был приглашен на встречу с группой левых студентов в Принстонском университете. Волнения в американских кампусах тогда нарастали. Студенты стали уверять меня, что через четыре года США будут социалистической страной. Американский социализм, сказали они, конечно, будет иным — это будет социализм развитого типа, без цензуры, без репрессий, без обанкротившейся экономики и т. д. Это меня насторожило.

Я не очень-то верю, что к 1972 г. США станут социалистическими, сказал я. Во всяком случае, я очень надеюсь, что этого не будет.

Как вы можете так говорить? — спросили студенты.

Потому, ответил я, что социалистическая Америка была бы величайшим несчастьем для будущего человечества. Америка — богатая и передовая страна, и у нее есть средства и умение построить то, что выглядело бы как действующая модель социализма. Если это произойдет, социалистические США послали бы миру ложную весть, что хороший и работающий социализм реален, что на самом деле не так.

Если Горбачев падет...

Урбан: Что бы мы ни думали о возможности социалистической утопии в длительной перспективе, похоже, что Горбачев полон решимости осуществить ее посредством модернизации, технического переоборудования и высокой мотивации его сторонников. При огромных природных ресурсах Советского Союза и многотерпимости его населения, трудно представить, что Горбачева ждет полное поражение. Если не произойдет внезапного дворцового переворота (что вполне возможно), Горбачев может добиться прогресса, пусть медленного и мучительного. В наших ли это интересах?

Джилас: Прежде чем ответить на ваш вопрос, позвольте заметить, что пока он лишь у подножья горы, на которую предстоит взбираться. Многочисленные проповеди, критицизм, бодрые призывы и несколько законодательных актов — все это лишь первые прикосновения к проблеме. Трудности начнутся через три-четыре года, когда децентрализация, приватизация и самоуправление заставят его осознать горькую реальность, что никакая из этих реформ не может дать эффекта без изменения политического профиля советского общества. Именно такой опыт приобрели мы в Югославии, а венгерские коммунисты, к их полному смятению, делают это открытие сейчас. Необходимость политического плюрализма становится все более очевидной.

Урбан: Хорошо вышколенного марксиста это не должно удивлять. Некоторые политические советники Горбачева уже говорят, что „общественные отношения” должны быть приведены в соответствие с „производственными отношениями”. В просторечии это означает: нельзя иметь свободную и производительную экономику без политического плюрализма.

Джилас: Это так, и это уже порождает трудности, ибо если советских аппаратчиков вполне можно заставить, привлечь или упросить поддержать реформы ради повышения производительности экономики, то их нельзя убедить, упросить или заставить подписаться под роспуском партии, упразднением их постов и утратой безопасности. Экономическая реформа без политической плюрализации приведет систему к банкротству. С другой стороны, политическая плюрализация покончит с системой. Несомненно, Горбачев и его сторонники предпочтут первый вариант. Советская система экономически обанкротилась — возможно, после перестройки банкротство будет чуть менее заметно. Но я не вижу, как они смогут допустить политический плюрализм, не отказываясь от господства над другими.

Урбан: Вы снова хотите еказать, что Горбачев — переходное явление.

Джилас: Именно так. Он вполне может лишиться власти, когда его реформы в их полном воплощении обрушатся на твердолобых. Он может также сам отказаться от власти перед лицом оппозиции, как он однажды намекнул. Отступления, которые он совершил в деле Ельцина и в Армении, — только вершина айсберга.

Горбачев мог бы остаться великой фигурой в истории, если бы ему повезло быть свергнутым сейчас, или если бы он именно сейчас сдался в отчаянии. Теперь он представляется человеком ясной перспективы, критического духа, не боящимся советского прошлого, человеком с несветским лексиконом, который видит, что плохо в системе, и пытается найти радикальное решение. Через несколько лет его запал увянет в болоте русской жизни и в непреодолимых противоречиях советской

системы. Сегодня звездный час Горбачева; что бы ни произошло после, это будет спад.

Тут я подошел к ответу на ваш вопрос. Конечно, значительное усиление советской системы не в интересах дела всемирной свободы. Но, по-моему, вскоре это не случится, если вообще случится.

Урбан: Не слишком ли лихо отказываем мы системе в силе и гибкости? Можно предположить, что у консервативного и не слишком робкого аппаратчика есть возможность выбить палку из рук Горбачева. Он мог бы заявить: „Под руководством Сталина мы подняли отсталую азиатскую экономику на уровень XX века. Да, мы применяли репрессии. Да, мы гнали резервы рабочей силы из деревни в город как стадо. Да, мы удерживали низкий уровень жизни, но посмотрите на результат! Мы выиграла страшную войну, у нас есть империя, мы равная по силе США сверхдержава. Наша система, восхищаются ею или страшатся ее, распространяется по миру, и русская нация получила, наконец, возможность столь долго откладывавшейся встречи с историей. Зачем рисковать всем этим ради ваших реформ? Если уж проводить реформы (которые, несомненно, нужны), почему не двигаться медленнее, но в рамках системы? В однопартийном государстве и в командной экономике скрыто еще немало жизненных сил. Это и есть наш путь к свершениям”.

Джилас: Такие рассуждения имели смысл (если быть готовым платить соответствующую цену) в 30-е годы. В 90-е годы модернизация означает обучение и привлечение к труду высококвалифицированных работников, трудящихся в мелких самоуправляющихся ячейках. Постиндустриальная революция основана на знании, индивидуальной инициативе и высокой личной ответственности. Ничего этого нельзя добиться посредством контроля из центра, а еще менее — репрессиями. Следовательно, методы, которые помогли Советскому Союзу „взять старт” как индустриализирующейся державе, не могут помочь ему преуспеть как постиндустриальной державе.

Например, применение вычислительных машин (возьмем наиболее очевидную помеху консерватизму того рода, который

вы сейчас изобразили) восстает против любой формы цензуры, ибо оно по своей природе поощряет распространение информации. И не только это — вся социальная база социализма советского образца (в сущности, любого ныне существующего образца) начинает исчезать. Традиционный рабочий класс сокращается и уже сократился до такой степени, что в Германии и Великобритании, например, больше нет надежды обеспечить избрание социалистического правительства, даже если весь рабочий класс в полном составе проголосует за социалистов, чего он никогда не делал. Советское общество, если оно намерено вступить в постиндустриальную эру, обречено идти тем же путем. Государство пролетариата обречено на исчезновение, ибо не останется достаточно пролетариата, чтобы поддержать даже это (вполне ложное) чувство легитимации, которое советское государство взвалило на свои плечи из-за Маркса и Ленина.

Поэтому советские консервативные оппоненты Горбачева не располагают убедительными аргументами. Это не значит, что на короткой дистанции их результаты не могут быть лучше чем у него. Но поскольку горбачевские реформы рано или поздно должны быть проведены — с Горбачевым или без него, то консервативно-сталинистская аргументация обречена на поражение, если, конечно, советский аппарат не решит, что модернизация ему не нужна и не предпочтет опасность застоя риску перестройки.

Урбан: *Но, может быть, демократы западноевропейского либерального толка почти столь же самодовольны и столь же уверены в преимуществах их систем, как советская верхушка — в своей? Нам кажется самоочевидным, что советское общество желает того же, чего желаем мы, что оно должно хотеть пройти наш путь развития — от господства церкви (или аристократии или абсолютной монархии) к просвещению, плюрализму, либерализму, демократии и всеобщему сотрудничеству. Но что если русская психика иная? Что если русский аппарат, как и народ, чувствует, что советская система, плоха она или хороша, — их подлинный метод делать дело, и они не хотят, чтобы иностранцы обучали их демократии? Нам почти невозможно представить себе, что такое может быть. Но на каждой странице советской*

(и, конечно, русской) истории есть доказательства, что патернализм, уважение к авторитету и даже палочная дисциплина — вполне общепринятые черты русской жизни и политической культуры. Они выражают этос большинства. Могут ли демократы опспорить это?

Джигас: Это хитрый вопрос. Он может обернуться оскорблением для русских, и многие действительно так его рассматривают. Все это можно высказать по-другому: „Демократия хороша для культурно более развитых народов Запада, русские же привыкли к рабству того или иного рода. Советская система или несколько улучшенная ее разновидность в общем-то хорошо им подходит. Нечего слишком беспокоиться об их свободе, ибо они не выглядят слишком огорченными ее отсутствием”.

Я не отрицаю, что реакции русских по каким-либо причинам исторического или культурного свойства отличны от реакций французов или британцев. Но я не думаю, что время и политическое самовоспитание оставят слишком много различий. Конечно, вы правы, полагая, что неразборчивое проецирование западных ценностей на другие культуры — это признак сомнения и ограниченности Запада и что в этом таятся политические опасности. Американцы не раз наносили таким образом тяжелые оскорбления другим народам.

Урбан: *Несомненно, однако, что можно извлечь уроки из наблюдаемых фактов. Горбачевским реформам приходится с трудом продираться и через бюрократическую, и через популистскую оппозицию: низовые „неформальные” организации, такие как „Память”, нападают на русские национальные традиции и не стремятся к гражданским свободам; интеллигенты, отстаивающие права человека, — небольшая группа, на которую широкая публика смотрит с непониманием, а то и враждебно.*

Один американский историк сказал мне как-то, что хотя он не верит в национальные стереотипы, он чувствует справедливость утверждения, что французам как народу в наполеоновскую эпоху нравилась военная служба. Не слишком ли смелым является предположение, спросил он меня, что во второй половине XX века у русских развилась исключительная терпимость к вседающему государству-нянюшке?

Джилас: Любое руководство в Советском Союзе и по существу любое русское правительство при царях хорошо знали о „темных русских массах” и боялись их. Хаос и анархия всегда были близко под поверхностью видимого русского спокойствия. Если вы задаете ваш вопрос, чтобы показать, что утвердить демократию в Москве труднее, чем, скажем, в Праге, я соглашусь с вами, ибо мы не можем закрывать глаза на исторические факты. Но если вы ставите под сомнение, что русскому народу подходит демократия и он созрел для того, чтобы принять выгоды и риск либеральной демократии, то я с вами не соглашусь. У русских те же человеческие свойства, что у итальянцев или шведов. Они ничуть не больше радуются путам на ногах, чем вы и я, и мы не достигнем ничего хорошего ни для себя, ни для них, педалируя тему „о, но русские совсем другие...” Это слишком легкий и безответственный путь — пытаться избавиться от трудного сплетения проблем, которые необходимо решить.

Урбан: *Ныне Горбачев пытается воспитывать русских в атмосфере свободы и терпимости. Делает он это чисто по-русски — насаждая эту атмосферу сверху. Некоторые думают, что он действует слишком медленно, другие — что он нетерпелив и продвигается слишком быстро.*

Джилас: По-моему, он двигается совершенно правильным темпом. Я на его месте выбрал бы ту же скорость. Трудности на его пути огромны. Несколько дней назад я читал статью одного ведущего журналиста „Правды”, из которой ясно, что при нынешней относительной свободе печать развила бурную кампанию неудержимых поисков промахов и ошибок и создала множество „антигероев”. Это, считает он, ошибочный путь. „Долг” печати — не погружаться в драматические потоки критцизма, а удалять червоточины из советского общества. Советские журналисты, пишет он, должны сосредоточиться на формировании здорового морального климата и условий для развития более производительной экономики.

Урбан: *То же самое говорили консерваторы на XIX парт-*

конференции. Так, Бондарев из Союза писателей РСФСР заметил, что нигилистическая „аморальная пресса не может учить морали”.

Джилас: Это типичное заявление о пределах „гласности”. Идея о „долге печати” — типичный пережиток эпохи Ленина и Сталина. В самом деле, печать получила некоторую свободу, границы которой не очень ясно определены, она распространяется на все „отрицательное”, но не на общественное устройство в целом. Горбачевская свобода, как ни достойна она похвалы за то, что она есть, — это управляемая свобода, основанная на предположении, что существует (о чем он нередко говорил) „социалистическая мораль”, которую он всячески поддерживает. Это в высшей степени неудовлетворительно. Мораль не может быть ни социалистической, ни капиталистической, ни буддистской. По самой своей природе мораль не должна иметь какого-либо определения.

Урбан: *Снова отмечу, что вы прошли долгий путь от веры в то, что морально, согласно Ленину, все, что хорошо для революции и пролетариата.*

Джилас: Да, я прошел этот путь. То же самое можно сказать о замечаниях Горбачева относительно демократии и „демократизации”. Или демократия есть, и это означает народовластие, а следовательно — неограниченный плюрализм, или демократии нет. При горбачевской переходной системе существует род управляемой демократии; она слишком управляема, чтобы удовлетворить подлинных реформаторов, или слишком демократична, чтобы удовлетворять консерваторов. Горбачев ходит по скользкой почве.

Урбан: *В СССР произошло замешательство, весьма похожее на то, что случается с многолетним узником, которому внезапно дают свободу, но предупреждают, что теперь он сам должен заботиться о себе. Известно, что такие люди нередко не выдерживают напряжения и просят вернуть их обратно, в спокойное бытие тюремной жизни.*

К вашей цитате из „Правды“ подходит имеющаяся у меня выписка из „Известий“, в которой автор жалуется, что средний читатель не знает, как обходиться с действительно свободной печатью. Наши люди привыкли думать, что все написанное журналом освящено авторитетами. Теперь это больше не так; он не представляет ни Горбачева, ни политбюро, ни даже местный совет — только себя. Как могут понять это люди? Кого представляет журналист, если он не представляет никого, кроме самого себя? Мне эта статья показалась неповторимым введением в опасности свободы. Лишь перо Достоевского способно описать влияние происходящего в душах людей, не подготовленных к этому.

Джилас: Это пример одного из самых пагубных последствий тоталитаризма. Неверно, что советская публика была плохо информирована о происходящем в советском обществе. Это не так, и потому еще более страшно. Советские люди никогда не чувствовали себя настолько свободными, чтобы сказать: „Вот, что мне известно, и вот какие выводы я делаю из этого“. Нет, они игнорировали имеющуюся в их распоряжении информацию и ждали от власти указаний, во что верить.

Урбан: Отличный пример этого мы видели в марте 1988 г. Знаменитая атака Нины Андреевой на реформы Горбачева появилась в „Советской России“ 13 марта. Контрудар со стороны „Правды“ произошел лишь 5 апреля. На главном направлении общественного мнения был трехнедельный вакуум. Человек улицы не знал, кому отдавать честь. Гласность тяжелым бременем легла на его плечи. И вот как Руслан Козлов увидел эту дилемму — и свою собственную, и всей страны.

„Стыдно сегодня признаться, но именно такую антиперестроечную позицию (Нины Андреевой — Дж. У.) я принял 13 марта за официальную точку зрения, которую разделяет политическое руководство страны... В подобном состоянии пребывал далеко не только я один... А что произошло в эти „три недели застоя“? Может быть, прошла волна партийных и комсомольских собраний, на которых дали гневную отповедь приверженцам наведения прежнего раболопно-очковтирательского „порядка“? Нет. Наоборот... Как-то не принято у нас, особенно в молодежной журналистике вступать в полемику с партийными газетами.

Ждали, будет ли выступать центральный орган партии. А ведь в эти дни шли письма от читателей, где высказывалось их недоумение и несогласие с позицией антиперестроечных сил. Они не публиковались. А ведь нам только показалось, что мнение Н. Андреевой подкрепляется точкой зрения партии. Так неужели боязнь нечаянно пойти не в ногу оказалась сильнее желания выйти наконец из тупика...”¹³

Джилас: Да, успешное или почти успешное промывание мозгов советскому обществу — одна из тех, в общем немногочисленных черт орвелловского кошмара, который действительно стал реальностью. Я не завидую Горбачеву.

Урбан: Становится все яснее, что горбачевские реформы требуют полного преобразования советского мышления и поведения, как отдельных людей так и институтов. Перестройка приобретает все больше черт морального перевооружения или, если угодно, Реформации лютеровского типа, если смотреть на сталинскую Москву как на нечистое папство. Горбачевские неустанные призывы к гражданину „перестроить себя“ и его кампания против того, чему ранее государство потворствовало (то есть, против коррупции), подкрепляют справедливость сравнения.

Джилас: Если так, то Горбачев начал совсем неплохо (могло быть и хуже) — с реабилитации (воскрешения он не может гарантировать) тех, кто был жестоко и несправедливо осужден ошибавшимся папой. Он должен реабилитировать генералов Красной армии, осужденных в 1938 г. Он должен реабилитировать Бухарина (отчасти это уже сделано) и других старых большевиков. Но прежде всего он должен проследить, чтобы Троцкий был возвращен на принадлежащее ему в советском пантеоне место руководителя революции, ее организатора и трибуна. Я не говорю, что та или иная фракция большевиков была лучше: это крайне ошибочная теория, которая вызвала к жизни разрушительную практику. Однако историю никогда не следует подделывать, искажать, подвергать цензуре.

Урбан: Как все это повлияет на страны-сателлиты Восточной и Центральной Европы?

Джилас: Это должно на них отразиться. Однако, как я уже говорил, волнений там не будет, если планы Горбачева не окажутся под угрозой.

Урбан: Будут ли усиливаться призывы к реабилитации Имре Надя и Пола Малетера, чего уже требуют венгерские диссиденты, и по существу, — весь венгерский народ?

Джилас: Это абсолютно неизбежно. Теперь, когда Кадар отошел от власти и к власти пришло новое венгерское руководство, не несущее никакой личной ответственности за подавление восстания 1956 г., должен быть открыт путь к реабилитации Имре Надя и 400 человек, повешенных режимом Кадара в 1957–1959 гг. Кадар был лично ответствен за обман, приведший к аресту Имре Надя, и он дал молчаливое согласие на его казнь.

Урбан: Хрущев, разумеется, всегда отвергал эту свою вину, хотя он защищал решение казнить Имре Надя и его сторонников. Он утверждал, что тут распорядились сами венгры; так он говорил, например, Мичуновичу.*

Джилас: Имре Надя и его друзья были казнены по приказу из Москвы, и Кадар вместе с Москвой отвечает за это, ибо он не вмешался в эти события, чтобы предотвратить их. Видите ли, в то время Кадар был советской марионеткой. Он пришел к власти на советских штыках и при поддержке советских пушек. Тем не менее, у него было достаточно влияния как у одного из приближенных к Хрущеву „товарищей“, чтобы спасти жизни Надя и его соратников, если бы он действительно того хотел.

Кстати, казнь Надя была одной из величайших ошибок Хрущева. Она была результатом новых подозрений советского руководства против Тито. Но с Кадаром произошла чудесная перемена: прежний квислинг, видимо, прошел перерождение

* Велько Мичунович был тогда послом Югославии в Москве. — Ред.

и в течение двух десятилетий на него смотрели как на оплот относительной свободы и экономического благосостояния его страны. Его высоко ценили и в Югославии, и общее мнение было таково, что он больше венгерский патриот, чем коммунист.

Урбан: Однако резкие повороты в его карьере — явление исключительное даже по коммунистическим стандартам. Арестованный и подвергнутый пыткам при Ракоши, он помог добыть признания от Ласло Райка, будучи уверенным, что Райку сохранят жизнь. Этого не произошло. Член революционного правительства Имре Надя в 1956 г. он предал Надя, изменил революции и стал главой квислингского правительства. С большой жестокостью сведя счеты с революционерами 1956 г., он затем пошел по пути национального примирения, „либеральной“ политики. Он был избавлен от необходимости совершить еще одно сальто на старости лет, так как в марте 1988 г. его отстранили от власти. Я не хотел бы быть исповедником Яноша Кадара.

Джилас: Карьеры Надя и Кадара типичны для феодального общества. Если феодальный барон восстает против короля или губернатор провинции — против султана, его низвергают, как это произошло с Имре Надем. Если он сохраняет верность, его вознаграждают, а иногда — как это произошло с Кадаром — дают ему какую-то свободу, если это не опасно для власти короля. Если он становится помехой или причиняет беспокойство, его отсылают па покой. Советская империя в точности соблюдает эти правила. На этот счет есть множество примеров, и у нас не должно быть никаких иллюзий в этом отношении.

Конец империи — возрождение русской нации

Урбан: Предположим, что коммунистические общества в известном нам виде постепенно исчезнут благодаря модернизации или будут изменены не столь мирным путем; какие „главные темы“ наиболее вероятно зазвучат среди русских,

поляков, румын и других народов Центральной и Восточной Европы.

Джилас: Вы полагаете, что общество нуждается в „главной теме”. Я не уверен в этом, но я вижу, к чему клонится ваш вопрос. Вы спрашиваете, чем будет заменен утопический элемент, например, в русском мышлении. Что ж, новая главная тема должна более соответствовать национальной душе, нежели эгалитарные призывы коммунизма; и я прочу на это место глубокую форму патриотизма (но не национализма), основанного на любовной заботе о национальной культуре и в особенности о языке.

Эта тема уже по существу формируется подспудно в каждой коммунистической стране. В Югославии, например, такие люди как выдающийся поэт Матя Бечкович (мой близкий личный друг) связывают коренную критику коммунистической системы с новым открытием национального прошлого. Добрица Чосич, замечательный сербский писатель, написал четырехтомный роман о роли сербского народа в первой мировой войне... Солженицын пытается оживить русское прошлое собственным эффективным способом, как и Валентин Распутин. То же делают по-своему армяне, казахи, эстонцы, латыши и украинцы. Второй темой будет солидарность человека со своим ближним — более зажиточных с бедными, одних народов с другими. Это не „социализм”, а нечто значительно менее доктринерское, основано на сознании хрупкости и ценности жизни на нашей планете, ибо никто еще не набрел на более достойную философию, чем поддержание жизни во всех ее формах. Религиозные лидеры, философы и идеологи искали множество ответов на наш вопрос о смысле жизни, но их панацеи приводили к большим страданиям, чем те, которые они успевали излечить. После чудовищных экспериментов коммунизма и нацизма нам, возможно, придется удовлетвориться простой истиной, что цель и смысл жизни — это **жизнь**, прочно укорененная в нации и сопровождаемая самым высоким чувством солидарности с нашими братьями, как с двуногими, так и с четвероногими.

Урбан: *Не осудили ли бы вы все это в своей прежней жизни как хилый „буржуазный гуманизм”?*

Джилас: Осудил бы, но ведь мы учимся у нашего прошлого и на наших ошибках, не так ли? То, что я теперь предлагаю, это не буржуазная и не антибуржуазная философия, а человеческий ответ на человеческие проблемы.

Урбан: *Итак, перед нами философия бытия — патриотичная, но не националистическая, социально ответственная, но не социалистическая, уважающая права человека и всех живых существ, но не называющая себя христианской. Я как бы уже слышу голоса некоторых критиков, бормочущих про себя, что это слишком отдаёт философией общего „добраго дела”, чтобы привлечь к себе такие полнокровные и грубые народы как русские, поляки или сербы.*

Джилас: Я не считаю такое суждение справедливым. Если дело дойдет до избавления от коммунизма, то когда это случится, каждый человек и каждый народ должен будет найти идеологию, основанную на национальной реальности. Каждому придется решать, какое коллективное обличье он захотел бы принять. В Югославии, например, словены захотят возобновить свои связи с Центральной Европой, сербы могут захотеть (а могут и не захотеть) подчеркнуть свое родство с западноевропейской культурой, и так далее.

Урбан: *Не предсказываете ли вы таким образом распад Югославии? Если сербы, хорваты, черногорцы, македонцы — все получат свободу культивировать и прославлять свое собственное национальное самоотождествление...*

Джилас: ... а так и должно быть...

Урбан: *...то мало вероятно, что Югославия выживет как единой государство.*

Джилас: Утверждение национальной идентификации не обязательно означает враждебность к другим народам. Весьма возможно, что будет сохранена прежняя структура, но, возможно,

ее сменит и новая. Однако народы Югославии обретут свое национальное лицо, что некоторые из них делают уже сейчас.

Урбан: *Значит, вы предвидите возникновение в Советском Союзе сильного тяготения к национальным „идеологиям“ украинцев, эстонцев, латышей, узбеков и армян. Не поведет ли это в конечном счете к сепаратизму?*

Джиглас: Да, поведет, и заметно, что это уже происходит, хотя и не так явственно, как в Югославии. Но это будет освобождением и русского народа от нынешнего (не всегда охотно переносимого) бремени империи.

Урбан: *Речь идет о распаде Советского Союза, не так ли?*

Джиглас: Речь идет об естественном конце неестественного и тиранического режима. Это неизбежно, как неизбежен был конец британской и французской империй, когда время для этого пришло. Русский народ выиграет от этого больше всех. Он добьется более свободной и зажиточной жизни и при этом, несомненно, останется великим народом.

Но, как видите, коммунистическая система привела русский народ в состояние мрачной интроспекции, которая ищет выход в ксенофобии, в демонстрациях национального превосходства, или же, наоборот, — в плаксивых признаниях в национальной неполноценности. Я твердо верю, что уменьшившееся в размерах, но уверенное в себе, открытое и демократическое русское государство будет давать русским гораздо меньше поводов для самокопания и сделает их более счастливой нацией, в той мере, в какой русские вообще могут быть счастливы. Представьте себе, что будет означать для свободных людей во всем мире исчезновение этого последнего бастиона всеобщей несвободы вслед за исчезновением всех прежних тираний!

Урбан: *Прежде чем приняться за перестройку, Горбачев и политбюро, должно быть, провели тщательную оценку „соотношения сил“ в мире. Они должны были прийти к вполне вероят-*

ному выводу, что Запад не угрожает им войной, и следовательно, проведение реформ вполне безопасно. Поскольку Советский Союз занят приведением в порядок собственного дома и изымает (или готовится изъять) ресурсы из военного ведомства, предполагает ли вы, что Западу не следует бояться советского экспансионизма по меньшей мере до тех пор, пока продолжается движение за реформы?

Джиглас: Конечно. Если перестройка задумана всерьез, а это именно так, то у Советского Союза не будет ни желания, ни энергии для проведения экспансионистской политики. Но Запад, и в особенности американцы, всегда неправильно понимали природу советской угрозы. Она никогда не была только, и даже главным образом военной угрозой, хотя и это в ней было. Угроза всегда была политической и психологической, и именно на этом фронте западный мир стоит перед необходимостью перевооружения. Я возвращаюсь к этому пункту, потому что он никогда по-настоящему не подчеркивался. Горбачев и его окружение — способные пропагандисты. Посмотрите, как блестяще они повернули к своей выгоде идею „нулевого варианта“. Если бы я был президентом США, я был бы обеспокоен пропагандистскими поражениями при встречах с Горбачевым.

Урбан: *Когда вы говорите, что советский блок не обеспокоен военной угрозой с Запада, а НАТО — с Востока, не подразумевает ли вы, что между ними достигнуто равновесие?*

Джиглас: Только в одном отношении. Склонность Кремля (и, конечно, его возможности) браться оружием в обозримом будущем ограничены вероятной реакцией стран-клиентов Москвы в Восточной Европе. Американцы же ограничены возможным поведением их союзников в Западной Европе. Русские не рискнут на агрессию, поскольку они понимают, что они не могут рассчитывать на поляков, чехов, восточных немцев и венгров, разве что как на источники дестабилизации. С другой стороны, американцы будут избегать риска, отчасти потому, что, как либеральные демократы, они не воинственны, а также

потому, что они не смогут увлечь за собой западноевропейские страны, разве что в драматической ситуации — при советском вторжении в Западную Европу. Это свидетельство всепроникающей тяги к нейтрализму в некогда могущественной Западной Европе; но такова реальность 1988 года.

Урбан: Итак, по той или иной причине, мир обеспечен, и Горбачев может идти вперед со своей „революцией после революции“?

Джилас: Да, я думаю, что может, но политическая борьба продолжается; не следует забывать это, анализируя вопрос о контроле над вооружениями.

Контроль над вооружениями — это вопрос о политическом контроле, об отрыве Европы от Америки и, в особенности, — о нейтрализации Германии. Западная Европа, лишенная ракет средней дальности, будет противостоять Кремлю, обладающему превосходством в обычных вооружениях. Это означает, что Европа станет слабее, а СССР — сильнее. Это, я бы сказал, политический аспект соотношения сил, и это должно беспокоить Запад. Дисбаланс в ядерном вооружении можно преодолеть. Но иллюзию, что советская система перестала быть самой собой и превратилась в нечто иное, что она более не угрожает либеральным демократиям, — это преодолеть гораздо труднее, если это утвердится в умах людей на Западе. Горбачев делает все возможное, чтобы это произошло.

Урбан: Не надеетесь ли вы, что демократии перестанут быть демократиями: что германские политики будут смотреть дальше будущих выборов в их землях, и что американские президенты — дальше показателя их популярности в опросах общественного мнения на следующей неделе, что французы станут выше своей готовности воевать до последнего германского солдата?

Джилас: В какой-то степени надеюсь. Конечно, мы не можем настроить инструмент, не поддающийся настройке; но

страны Запада должны научиться координировать свои интересы, чтобы предотвратить вырождение НАТО в союз самоубийц.

Мы должны помнить, что сегодня Советский Союз говорит с нами с позиций его явно и открыто признаваемой слабости. Это результат 70 лет скверного экономического руководства и растраты людских ресурсов. Горбачев пытается освободиться от психологии обитателей осажденной крепости, но не может, поскольку ощущает превосходство Запада в области космической обороны, военной техники и постиндустриальной революции. Он добивается, чтобы Запад освободил советскую систему от этого давления.

Запад должен решить — ответить ли на это утвердительно или отрицательно. По моему твердому убеждению, не следует уступать, если советское государство и коммунистическая партия не предоставят гарантии, вполне реальные и необратимые, что международная гражданская война, которую они объявили всему миру в 1917 г., перестала быть их целью. Через 70 лет после большевистской революции в роли просителя выступает на Западе Кремль.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. „Проблемы Восточной Европы”, № 15–16, 1987, стр. 166.
- 2 „Sirp ja Vasar”, 15 апреля 1988. (перевод с английского).
- 3 Ленин писал (31 декабря 1922 г.): „...Нужно не только формальное равенство... нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством „великодержавной” нации”. (Соч. т. 45, изд. 5, стр. 359.)
- 4 G. R. Urban (ed.), Eurocommunism, London, 1978.
- 5 Брифинг АПН от 25 февраля 1988 г.
- 6 „Советская Россия”, 13 марта 1988.
- 7 „Sirp ja Vasar”, 8 апреля 1988.
- 8 M. Djilas, Tito: The Story from the Inside, 1981.
- 9 M. Djilas, Rise and Fall, 1985.
- 10 George Urban, A Conversation with Milovan Djilas, „Encounter” (Dec. 1979); „Stalinism”, L., 1982.
- 11 V. Grossman, „Life and Fate”, 1985.
- 12 „Utopia and Revolution”, 1976, p. X.
- 13 „Комсомольская правда”, 21 апреля 1988.